А. С. Демин

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНОГРАФИИ О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Часть 1

ТЕМАТИКА

1. Предсказания в древнерусской литературе

Сразу вспоминаются причудливые и страшные произведения о «конце мира», начиная с Апокалипсиса. Но в данной работе речь пойдет не об эсхатологических произведениях о «последних днях» человечества, потому что их совсем мало, переведены они были в ранний период древнерусской литературы и больше почти не пополнялись.

Однако есть другой, более долговременный, хотя и более приземленный объект изучения в древнерусских произведениях, как в переводных, так и в оригинальных, — это предсказания будущего конкретным персонажам или даже целым людским сообществам (например, войскам и отдельным народам), — уверенные, произнесенные вслух утверждения о будущем («иже хощеть быти»), которое, как правило, сбудется.

Предсказания не только раскрывают отношение книжников к предсказанному будущему и к предсказателям, но и позволяют выйти к постановке малоизученной проблемы о степени ментального разнообразия древнерусской литературы в тот или иной период. До сих пор мы больше обращали внимания как раз на единообразие древнерусской литературы, на ее обязательную «этикетность», общепринятые «стили эпох» и пр.

Предсказания в произведениях, помимо Бога и ангелов, произносили преимущественно служители культов, языческого и христианского, изредка — правители и военачальники. Оттого больше всего предсказаний содержится в исторических и отчасти в житийных произведениях. Их-то мы и будем рассматривать. Далее прилагается пока еще очень неполный источниковедческий очерк памятников, содержащих предсказания.

Произведения XI—XII вв.

Из всех ранних непереводных древнерусских памятников «**Повесть временных лет**»[1] наиболее богата предсказаниями, благодаря чему можно попытаться определить, как летописец относился к предсказанному будущему.

Летописцу было чуждо олимпийское спокойствие. Главным чувством летописца при изложении предсказаний было удивление, которое он выражал парадоксами. Так, удивительное для него предсказание хазарских старейшин о будущем покорении хазар русским князьям (хотя в тот момент будущие русские — поляне — платили дань хазарам) летописец прокомментировал парадоксом: «си владеша, а после же самеми владеють» (17). Другое предсказание — волхва Олегу Вещему — также было у летописца парадоксальным: «конь, его же любиши и ездиши на нем, — от того ти умрети» (38, под 912 г.). Парадокс содержало и предсказание Феодосия Печерского своей духовной дочери Марии о месте ее будущего захоронения: «идеже лягу азъ, ту и ты положена будеши» (212, под 1091 г.).

Удивление летописца не всегда было явным, отчего и сами парадоксы не всегда были отчетливо сформулированы летописцем. Так, парадоксальность предсказания апостола Андрея о будущем строительстве Киева становилась ясной только на фоне подразумеваемого контекста в рассказе: «Видите ли горы сия? Яко на сихъ горах… имать градъ великъ быти» (6). Лишь подразумевалось удивительное: ведь апостол провидел будущий великий город на совершенно пустых и безлюдных горах.

И все же удивление от предсказанного будущего было постоянным чувством летописца. Однажды он даже пытался умерить удивление (когда говорил о языческом предсказании): «Се же не *дивно*, яко от волхвованиа собывается чародеиство» (39, под 912 г.). Чаще же летописец с настойчивым удивлением повторял, что предсказанное будущее сбылось. Так, по поводу предсказания хазар он дважды повторил: «Се же сбыся все… яко же и бысть: володеють бо хозары русьскии князи и до днешнего дне» (17). А по поводу предсказания Феодосия, которое точнейшим образом сбылось через 18 лет, когда о нем уже никто и не помнил, летописец повторил даже трижды: «ся събыся прореченье Феодосьево… се сбысся… се же сбысся прореченье отца нашего Феодосья» (211—212). Конечно, и в этих случаях не всегда летописец демонстративно выражал свое удивление. К примеру, о предсказаниях киево-печерского монаха Еремии, который «проповедаше предибуду-

щая», летописец отозвался гораздо скупее: «что речаше — ли добро, ли зло — сбудяшется старче слово» (190, под 1074 г.).

Другим чувством летописца по отношению к будущему являлось нечто вроде благоговения. Летописец прямо или косвенно отмечал внутреннюю, скрытую и даже тайную обусловленность предсказанного будущего. Действительно, предсказатели в летописи опирались на приметы будущего, не понятные или вообще не воспринимаемые другими людьми (в том числе и читателями летописных рассказов). Перечислим некоторые факты. Так, только хазарские старцы (и больше никто) обратили внимание на обоюдоостроту мечей у полян сравнительно с однолезвийностью хазарских сабель как на залог будущей победы русских над хазарами. Половецкий хан Боняк предсказал победу русского войска по полунощному волчьему вою (271, под 1097 г.). В рассказе о предсказании апостола Андрея, провидевшего постройку Киева, признак этого отдаленного будущего вообще был не афишируем летописцем. Можно заметить лишь, что летописец в кратком рассказе чересчур часто, почти навязчиво повторял слово «горы», «идеже после же бысть Киевъ». Подобное повторение слова, возможно, последовало неспроста. Ведь «горы», не только киевские, но и самые разные и в самих разных ситуациях, ассоциировались у летописца со строительной деятельностью на них, — созданием жилищ, всяких сооружений и целых поселений.

Но намеренно ли летописец «скрывал» признаки будущего в рассказах о предсказаниях или делал это интуитивно, остается неясным. Однако в полную случайность подобного явления все же не верится, потому что тот или иной скрытый признак будущего упоминался летописцем почти во всех рассказах о предсказаниях. Так, в рассказе о зловещем предсказании волхва Олегу Вещему многократно упоминался конь. Если просмотреть всю летопись, то можно убедиться, что конь у летописца, помимо воинских ассоциаций, постоянно, хотя и не совсем отчетливо, ассоциировался с различными людскими несчастьями, — болезнями, голодом, жаждой, а также с убийствами и иными насилиями, нападениями бесов, смертью и похоронами.

В рассказе о предсказании Феодосия Печерского о месте захоронения своей духовной дочери Марии ощущение глубинной обусловленности будущего летописец, возможно, выразил, упомянув такой скрытый признак будущего, как любовь (конечно духовную) Феодосия к благочестивой Марии и ее супругу: «Феодосии бо бе любя я, зане же живяста по заповеди Господни» (212). Ведь особо любившие друг друга люди оказывались в летописи и похороненными рядом друг с другом: например, под 1015 г. сообщалось, что Глеб очень лю-

бил брата своего Бориса («брате мои любимыи» — 136) и соответственно рядом с ним и был похоронен («положиша и́ у брата своего» — 137); далее, под 1093 г. говорилось, что великий князь киевский Ярослав Владимирович любил своего сына Всеволода («любимъ бе отцемь своимъ»), предсказал ему захоронение рядом с собой («да ляжеши, идеже азъ лягу, у гроба моего, поне же люблю тя»), и предсказание сбылось («се же сбыся глаголъ отца» — 216).

Наконец, благоговейное отношение летописца к предвиденному будущего выдавали его ссылки на Бога. Так, Еремии «бе даръ дарованъ от *Бога*» верно предсказывать будущее (190, под 1074 г.); апостол Андрей угадал Божью волю, провозглашая: «на сихъ горахъ восияеть благодать *Божья*… и церкви многи *Богъ* въздвигнути имать» (8). Божье воздействие распространялось и на языческих предсказателей: хазарские старейшины «не от своея воля рекоша, но отъ *Божья* повеленья» (17); волхв Олега Вещего верно предсказал тоже по попущению Божию, — «философескую хитрость имуще … ослабленьемъ *Божьимъ*… будущаа предпоказа» (41, под 912 г.).

Предсказания воинствующих язычников, естественно, вызывали у летописца не удивление и благоговение, а, напротив, возмущение и презрение. Например, предсказание волхва, появившегося в Киеве, было грубо и отталкивающе парадоксальным: «Днепру потещи вспять, и землямъ преступати на ина места, — яко стати Гречьскы земли на Рускои, а Русьскои — на Гречьскои» (174, под 1071 г.). Показывая полнейшую вздорность такого будущего, летописец не упомянул, сбылось ли предсказание и имелись ли у него хоть какие-нибудь приметы или предпосылки, а предсказание волхва приписал воздействию не Бога, но беса: «волхвъ прелщенъ бесомъ»; люди тоже обвиняли волхва: «бесъ тобою играеть».

В летописи отразилось еще одно чувство летописца, относившееся к будущему, — это ощущение неуверенности, когда предсказания оказывались зыбкими, предусматривая два противоположных варианта развития событий, — или очень хороший, или очень плохой: «да любо налезу собе славу, а любо голову сложю» (266, под 1097 г.); «егда кто весть, кто одолееть, — мы ли, оне ли?» (46, под 944 г.); «аще по моемь ошествии света сего… манастырь ся начнеть строити и прибывати в нем, то вежьте, яко приялъ мя есть Богъ; аще ли по моеи смерти оскудевати начнеть манастырь черноризци и потребами манастырьсками, то ведуще буди, яко не угодилъ есмъ Богу» — 187—188, под 1074 г.).

Различные оттенки тревожности и неуверенности летописца выражали и многочисленные небесные «знамения», сопровож-

даемые предсказаниями. «Знамения» могли предвещать неведомо что — то ли зло, то ли добро («знаменья бо бывають ова на зло, ова ли на добро» — 276, под 1102 г.), а если предвещали нечто плохое, то неясно, какое именно и когда оно сбудется («знаменья сиця на зло бывають — ли проявленье рати, ли гладу, ли смерть проявляеть» — 165, под 1065 г.).

В общем, отношение летописца к будущему представляло собой сплав различных чувств, — удивления, благоговения, опасения и пр. Главное тут: летописец всегда эмоционально относился к фактам предвосхищения будущего. Причина заключается в общем характере «Повести временных лет»: все летописное повествование было пронизано явной или скрытой экспрессией летописца.

Для сравнения привлечем некоторые другие тоже самые ранние исторические и житийные произведения. Из исторических трудов родственным «Повести временных лет» является славяно-русский перевод **«Хроники» Георгия Амартола**, как известно, достаточно обильно использованный древнерусской летописью[2]. Тем не менее литературное различие между обоими памятниками разительно, в том числе в области предсказаний. «Хроника» Амартола, в отличие от эмоциональной «Повести временных лет» служила, в первую очередь, ученым трудом, что и определило подход Амартола к будущему и характер изложения предсказаний в его «Хронике»[3].

Основное различие касалось, так сказать, технологии проникновения в будущее. При всем множестве ссылок на Библию в «Повести временных лет» летописец нигде не высказывался о Библии как об универсальном источнике предугадывания будущего. Ученый же подход Амартола к будущему выразился в подчеркнуто провозглашенной опоре на книги, прежде всего на Библию: надо «будущая проведети … беспрестаньнымь поучениемь пророчьскых и прочих святыхъ словесъ … философьею» (230); «прорицание некое въ святыхъ писаниихъ обретаемо» (220); «будущее оттуда древле исписано бысть» (456) и пр.

Далее. Летописец лишь однажды кратко перечислил некоторые суеверия, предвещающие будущее: «усрети верующе, — аще бо кто усрящеть черноризца, то възвращается, ли единець, ли свинью … зачиханию верують, еже бываеть на здравье главе» (170, под 1068 г.). Амартол же с удовольствием и помногу занимался учеными обзорами разных примет будущего, в особенности систематизацией оснований библейских предсказаний (что «Моиси и прочии пророци Божиею благодатью будущая преже ведяху» — 256), а еще больше — пространными реестрами языческих гаданий волхвов: «ово же есть и

птицесмотренье, ово же блатное, другое же домосмотрьнье, ино же напутное, другое же рукосмотрьное…» и т. д. (70); «мукъволшвеници, и ячьновльници… волхвующе и дубравою, и кровавныя знамения, еще же и утробами, и летаниемь птичьнымъ, и званиемь чарование, и кытание, и буря, и громъ, мухами же, и ласицами, скрипаниемь древнымь, и звизлениемь ушьнымь, и кръвавицами телесными, и имены мертвьчи, и звездами, и водами и многыми таковыми» (169).

Летописец не вдавался в обсуждение вопроса о ясности или неясности предсказаний; а аналитик Амартол в этом деле, напротив, преуспел, постоянно комментируя качество предсказаний: «зело являя всемъ», «что луче божествъныхъ сихъ глаголъ и явнеише ли истиньнеише будеть?», «убо что истовее сихъ хощеть быти?», «предъглаголюща яве», «яве свидетельствують» и мн. др. (275, 277, 285, 336, 207). На неясность предсказаний Амартол тоже указывал регулярно: «притчами глаглющему», «притъчею намъ пророкъ изглагола», «запечателеньна суть словеса» (277, 281, 283). При этом, если летописец почти не уделял внимания толкованию предсказаний (разве лишь один—два раза — в рассказе о предсказании хазарских старцев в начальной части летописи и в рассказе о предсказании волхвов под 1071 г.), то Амартол пунктуально сопровождал предсказания развернутыми филологическими, числовыми, символическими и пр. разъяснениями и очень подробно и детально полемизировал, по его мнению, с неправильными толкованиями предсказаний.

В отличие от «Повести временных лет» с ее неопределенностью или странностью примет будущего, в «Хронике» Амартола приметы будущего были четко и логично расписаны, даже вплоть до предсказательного значения элементов одежды. Например, драгоценные каменья на архиерейском одеянии однозначно предвещали то или иное будущее: «толикомъ бо сущимъ камениемъ на немь блисташеся заря… яко темь разумети получение воемъ, да будеть Богъ с ними на помощь… Паче на адаманте камыце, иже, пременуя различья, будущая некая поведая, проявляше хотящее быти людемъ: аще чернъ бporяше, то смерть; аще ли червленъ будяше, то кръви пролитие; аще ли белъ, — премену являющю Богу» и т. д. (44—45). Приметы были и не такими возвышенными, но все равно точно исчислимыми. Например, попадание или непопадание стрелы в землю соответственно означало будущую победу или будущее поражение (вот что пророк предсказал израильскому царю: «повеле ему по земли стреляти 5-краты. 3-е бо уполучно стрели, 4-е же не уполучи. И пророчествова ему до 3-го съступа победити асуряны, прочее же побежену ему быти. Аще бо 5-краты стрелы по земли уполучно стрелявъ, — 5-краты убо исполчивъся,

сурьскую бы власть разрушилъ» — 183). У волхвов, по рассказу дотошного Амартола, тоже существовали четкие и ясные приметы будущего (хотя и неверные); в частности, гадали по полету птиц («аще не движеться пта, — пребыти на томь месте всемъ; аще ли, въставши, напредъ полетить, то всем ити; аще ли назадъ полетить, — въскоре възвратитися» — 46).

Наконец, если в «Повести временных лет» небесные знамения были сопряжены у летописца с неопределенным тревожным ожиданием, а точно исполняющиеся предсказания вызывали у летописца восхищенное удивление, то у гораздо более рационального Амартола экспрессия будущего отсутствовала, все было расчислено, место и время исполнения предсказания предусмотрены («прежерещи престроимъ и место, и время, и образъ, и злобие, и въсхожение и ина прочая съ многымь истовьемь» — 280); полнота исполнения оценена («аще не свершена вся си безъ остатъка» — 277); знамения на небе или на земле всегда предвещали зло и несчастья, незамедлительно разражавшиеся (например: «начашася … бывати знамениа на перстех человеческых и на церковных святых одежахъ крести неции масленши мнози, и такъ наста Божии гневъ мозолныи, чръмнаа нежитовница… и к тому бываху мечти неции на многыа человекы и ужасти некоторыа дивны» и т.д. и т.п. — 476); притом злых последствий можно было избежать при определенном расчете (типичный пример: «Бысть же изчезновение луне. Царь же митрополита Пантелеонта призва… вопроси его: "На кого хощеть быти зло?". Сеи же рече: "На тя. Аще въ 13 день иуниа месяца изидеши, — оттоле ничто же ти будеть зло"» — 539). Амартол так и утверждал: в предсказаниях о будущем важнее всего разумный расчет: «и смотрение есть паче, некли прорицание. И ничто же дивно таковая пророчествия имуть» — 169).

О большей экспрессивности «Повести временных лет» сравнительно с рациональной «Хроникой» Амартола свидетельствует один сходный мотив в обоих памятниках, — явление обнадеживающего небесного существа в земном образе какому-либо персонажу во сне или в болезни. Так, в летописи умирающему киево-печерскому монаху явился ангел в виде игумена Феодосия Печерского («разболевшю же ся и конець прияти, лежащю ему в немощи, приде ангелъ к нему въ образе Феодосьеве, даруя ему царство небесное за труды его» — 189, под 1074 г.). Аналогичная ситуация упоминается в «Хронике» Амартола: во сне Александру Македонскому, задумавшему идти на персов, явился Бог в виде архиерея (по словам Александра, «яви ми ся въ сне образомь симь архиереевомь Богъ и дерзати ми повеле и на поспешьствие прити рече скоро, яко "тобою развращю

персьскую силу”» — 45). Но показательно различие дальнейших действий персонажей. У Амартола Александр Македонский дополнительно проверяет предсказание Бога по книгам пророка Даниила (ему «книгы Данила принесоша, пророчество его, и протолковаша, яже пророкъ преже глагола, яко подобаеть некому македонянину царствие Персьское прияти»). Только получив ученое, подтверждение, Александр уверился в будущем и пошел на персов («Александръ же въ чювьствие сия приимъ и радъ бывъ… на персы подвижеся» — 46). В отличие от стандартного обозначения «чювствия» в «Хронике», монах в летописи, когда его посетил реальный Феодосий Печерский, вел себя эмоциональнее: очень беспокоился о будущем («оному же изнемогающю, възревъ на игумена, рече: “Не забываи, игумене, еже еси обещал”») и лишь после заверения помер успокоенный.

Разное отношение авторов к будущему (эмоциональное либо «ученое») побуждает задать вопрос: почему в столь близкое время на Руси появились ментально такие разные исторические произведения? В данном случае не так уж важно, что одно из них — оригинальное, а другое — переводное. Оба они обслуживали некие читательские потребности на Руси, по-видимому, разнообразные. Вспомним, что тогда же в близкое время появились и два литературно разных жития Бориса и Глеба — более «ученое» «Чтение о Борисе и Глебе» и лиричное «Сказание о Борисе и Глебе», два литературно разных «Изборника» — ученый «Изборник» 1073 г. и экспрессивно-простецкий «Изборник» 1076 г., взволнованное «Слово о Законе и Благодати» Илариона и деловитые поучения Феодосия Печерского и т. д.

Феномен ментального разнообразия ранних произведений одного жанра на Руси, в данном случае исторического, требует более глубокого исследования, но более глубокому исследованию мешает наше незнание конкретных причин и обстоятельств появления памятников, особенно переводных, в начальный период формирования древнерусской литературы. Пока же можно выдвинуть лишь самые общие предположения: литературные вкусы тогда либо были еще хаотичны; или быстро менялись даже в одном книжном центре; или же каждый центр отличался от других своими вкусами. Намеренного стремления к разнообразию, пожалуй, не было.

Близким к «Повести временных лет» является и другой исторический труд — **«История Иудейской войны» Иосифа Флавия**, переведенная на Руси в XI в.[4]. Есть элементы стилистической близости между «Повестью временных лет» и «Историей Иудейской войны»[5].

Если в своем отношении к будущему летопись отличалась от «Хроники» Георгия Амартола как произведение более эмоциональ-

ное от труда более ученого, то различие между летописью и «Историей» Флавия касалось как раз эмоциональной сферы. Будущее у Флавия отличалось постоянной и неизменной трагичностью сравнительно с более оптимистичной «Повестью временных лет». Если в летописи лишь одно предсказание провещало смерть персонажу (Олегу Вещему от коня), то в «Истории» Флавия почти все многочисленные предсказания предусматривали гибель, смерть, кончину, опустошение и пр., причем самым разным деятелям и областям, а не только участникам Иудейской войны. Знамения также были определенно, безусловно и непреодолимо зловещими («пред мором же, и пред градом, и пред трусом, и пред ратьми, и пред воиною бывають знамениа, яко ти бываеть весть пред цесаремь или пред вои» — 201—202). В редчайших случаях эти предсказания оказывались, так сказать, полутрагичными («будеть ти напасть различнаа, но избудеши и спасешися» — 196). Кроме того предсказатели, по мнению автора, становятся все хуже и хуже сравнительно с прошлыми: «тогда бо и пророци людем были учителеве и обещаху о плене и о възвращении. А ныне ни есть … о ком ся утешати» (200).

Трагичность атмосферы в «Истории» Флавия усиливало то, что будущее нередко раскрывалось не сразу, с большим трудом, приходилось созывать толкователей, — книжников, мудрецов, халдеев, священников и пр., и их толкования были противоречивы («онемъ ино глаголющим», «инемь же инако раздрешающим», «им же разноличьнаа сказаниа суть» — 251, 282, 422). В конце концов персонажи стали отмахиваться от предсказаний, не хотели знать будущее («знамениемь и явлениемь не внимаше, ни вероваше … не послушаша… ни разумеша…» — 420).

Таким образом, «История Иудейской войны» Иосифа Флавия подтверждает факт озадачивающего, но пока точно не объяснимого тяготения самых ранних на Руси исторических произведений к ментальному разнообразию.

Теперь перейдем к ранним памятникам житийным, прежде всего к **«Сказанию о Борисе и Глебе»**. Нет нужды долго говорить о тесной текстуальной связи «Сказания о Борисе и Глебе» с «Повестью временных лет», содержащей аналогичную повесть «О убьеньи Борисове». Но в летописной повести (как и в «Чтении о Борисе и Глебе») отсутствуют предсказания, весть о предстоящем убиении приходит к Борису непосредственно перед нападением на него, а вот в «Сказании о Борисе и Глебе» предсказания есть[6].

Особенность «Сказания» заключалась в отношении автора к предсказателям — в постоянно отмечаемой автором области зарож-

дения такого знания, — а именно в сердце, душе, уме, сне предсказателей самим себе. Так, Борис задолго до своего убийства Святополком предчувствовал свое будущее и жаловался: «*Сердце* ми горить, *душа* ми съмыслъ съмущаеть… тъ [Святополк], мьню, … о биении моемь помышляеть… кръвь мою пролееть и на убииство мое потъщиться» (29) И дальше чувство продолжало еще конкретнее подсказывать Борису его несчастное будущее, хотя Святополк еще даже не нанял убийц: «Помышляшеть же *въ сърдьци* своемь богоблаженыи Борисъ и глаголааше: “Веде брата моего зълу ради человеци поняти и́ на убииство мое и погубить мя … пролееть кръвь мою”» (31). Сердце подсказывало Борису даже исторические аналогии его будущего: «съкрушенъмь сърдьцьмь… помышляшеть же мучение Никиты и святого Вячеслава, подобно же сему бывъшю убииству» (33). Чем ближе событие, тем острее томило предупреждающее чувство: «И бяше *сънъ* его въ мънозе мысли… како предати ся на страсть… и течение съкончати» (33).

Интересно, что в **«Чтении о Борисе и Глебе»** все было наоборот: Борис ничего не предчувствовал: «никоего же зла помышляющю въ сердьци своемь, иже бы прияти отъ брата своего» (9).

По представлению же автора «Сказания о Борисе и Глебе», предвидением своего будущего ведал внутренний мир человека, — его сердце, душа и пр. Поэтому у Бориса с самого начала в сердце было сомнение, удастся ли ему увидеть своего младшего брата Глеба: «глаголаше *въ сьрьдци* своемь: “То поне узьрю ли си лице братьца моего мьньшааго Глеба…?”» (30). Поэтому и Святополк в душе предвидел свое будущее: «Глаголааше *въ души* своеи оканьнеи: “…буду чюжь престола отца моего… и къняжение мое прииметь инъ…”» (38).

Возможно, душевную прозорливость автор «Сказания» приписывал только зрелым героям, но не слишком юным. Оттого молоденький Глеб сам не догадывался о своем будущем, а, напротив, ошибался в своих наивных предположениях о желаниях Святополка.

Опора автора «Сказания» на душевное и сердечное предвидение будущего объясняется, конечно, лирическим характером этого произведения, которое, если судить по предсказаниям, в ментальном отношении опять-таки не примыкало ни к какому памятнику того времени и добавляло еще один штрих к удивительному разнообразию ранних произведений литературы Древней Руси.

Тот же вывод о разнообразии подтверждается и при обращении к другому памятнику, тоже тесно связанному с «Повестью временных лет», — к **«Житию Феодосия Печерского» Нестора-агиографа**[7]. Отношение автора к предвидению будущего было опять своеобразно.

В «прореченияхъ блаженаго» Феодосия речь шла, как правило, о ближайшем материальном будущем, — о нехватке пищи и иных продуктов в монастыре, а Феодосий каждый раз твердо обещал, что Бог попечется о нехватке и даст изобилие, что вскоре и происходило, — буквально через несколько минут, или в тот же день, либо, в крайнем случае, на другой день. Смиренный Феодосий далеко не заглядывал. Свою смерть Феодосий тоже точно предсказал за несколько дней. Если же надо было подумать о большем сроке (например, о будущем монастыре), то тут Феодосий оставался в большой неуверенности, — будет ли хорошо или плохо.

Из изложенного можно сделать вывод, что Нестор-агиограф, в отличие от Нестора-летописца, предпочитал загадывать только самое ближайшее узкопрагматическое будущее, потому что был занят исключительно конкретными внутримонастырскими, преимущественно хозяйственными сюжетами. Произведения XI — начала XII вв., если основываться на авторском отношении к будущему и предсказателям, стихийно взаимодополняли друг друга, составляли бесструктурную россыпь памятников, а не сформировавшееся стройное целое.

Рассмотрим теперь самые ранние рассказы («слова») в **«Киево-Печерском патерике»**[8]. Многие его рассказы были включены в «Повесть временных лет». В первом же «слове» патерика сообщается о предсказании киево-печерского игумена Антония в 1068 г. сыновьям великого князя киевского Ярослава и с ними варяжскому князю Шимону, собравшимся воевать с половцами: «хотящую имъ быти погибель ясно исповедаше»; а Шимону дополнительно предрек: «бежащим вамъ от супостатъ вашихъ… уязвени будете…; ты же спасенъ бывъ, зде имаши положенъ быти в хотящой създатися церкви» (412). Тут особенно интересно предсказание о будущей церкви, о которой никто и не помышлял. Автор рассказа подчеркнул, что это будущее обязательно должно было сбыться: ведь «старец же отвръзъ *неложнаа* своа уста». И далее последовали многократные напоминания о будущем возведении церкви и положении в ней тела Шимона. Эти напоминания настоятельно делались еще до предсказания Антония, которое, в сущности, тоже служило напоминанием в целом ряду аналогичных напоминаний. Вначале Шимону был глас от изображения Христа («слышахъ глас от образа, обратився къ мне и рече ми: “…неси же на уготованное место, идеже зиждеться церковъ матере моея», то есть Богородицы — 414). Затем Шимону и его спутникам во время бурного плавания по морю была явлена будущая богородичная церковь со всеми, так сказать, параметрами («и се видехъ церковь горé… И бысть съвыше глас къ намъ, глаголяй: «Иже хощеть

създатися от преподобнаго во имя Божиа матере, в ней же и ты положенъ имаши быти». И яко же видехомъ, величествомъ и высотою размеривъ… 20 въ ширину и 30 въ делину, а 30 въ высоту стены, съ връхомъ 50» — 414). Тут-то присоединился к напоминаниям и Антоний. Потом, когда, в точном соответствии с предсказанием Антония, в битве с половцами «побежени быша християне и бежащимъ имъ… Ту же и Шимонъ лежаше язвенъ», то снова явилось ему напоминательное видение: «Възрев же горé на небо и виде церковъ превелику, яко же преже виде на мори» (412). Наконец, после исцеления Шимона и переименования его в благочестивого Симона, Антоний призвал Феодосия и напомнил: «Симоне сий хощеть въздвигнути таковую церковъ» (414).

Мало того, в следующем, втором «слове» патерика напоминания продолжились. К каким-то четырем царьградским строительным мастерам во сне явилась Богородица и объявила: «Хощу церковь възградити себе въ Руси, въ Киеве» (418). Образец был показан («и виде хомъ церковъ на въздусе» — 420). Мастера прибыли в Киев к Антонию и Феодосию и напомнили: «Где хощета начати церковъ?» (418). Антонию ночью во время молитвы явился Господь, и речь снова пошла о церкви (420); в течение трех дней разные знамения давали понять, где строить церковь и т. д.

Почему так навязчиво следовали все эти напоминания? Видимо, главной у автора служила мысль назидательная: предсказанное *должно* сбыться. Поэтому автор многократно повторял напоминания о будущем, в конце третьего «слова» снова напомнил основные этапы сюжета и при этом даже прямо сформулировал свою закрепительную учительную цель: «И еще вы, възлюблени, предложу слово *на утвержение* ваше» (424).

Последующие в патерике ранние рассказы о предсказаниях снова и снова убеждали читателей, что каждое предсказанное будущее должно сбыться непременно, несмотря ни на какие препятствия, как неминуемый приговор. Так например, в семнадцатом «слове» патерика плененному и уведенному половцами монаху святой Герасим предсказал, что через три дня пленный окажется в Киево-Печерском монастыре. И хотя половцы знали о предсказании, монах был окован, вокруг него сидели охранники с оружием, а самому монаху даже подрезали сухожилия на голенях, чтобы не убежал, на третий день монах вдруг стал невидим для половцев и перенесен в монастырь. Затем в Киев пришел половец, мучивший плененного монаха, и подтвердил историю с предсказанием.

В двадцать восьмом «слове» киево-печерский монах Герасим предсказал одному жулику быть повешенным на дереве, а одному князю — утонуть вместе с его воинами. И хотя предсказаниям не поверили, насмехались над Герасимом, заперли его в погребе, а потом и вовсе утопили, его предсказания все равно сбылись, потому что «Богъ непоругаем бываеть» (534).

Будущее не сбывалось в патерике только в одном случае, — если предсказание делал неправославный, а его опровергал киево-печерский монах, как в двадцать седьмом «слове» об армянском враче и о монахе Агапите.

Можно удивляться разнообразию подходов авторов к будущему в произведениях XI — начала XII вв. Подобное накопительное разнообразие ранней древнерусской литературы проявилось также и в иных областях поэтики, — в элементах изобразительности, в характере символики, в семантике перечислений, в специфике лаконизма и пр.[9] Изучение разнообразия ранней литературы Древней Руси необходимо продолжить.

Произведения XIII—XVII вв.

Мы ограничимся наблюдениями над предсказаниями только в некоторых памятниках конца XII—XIII вв. на исторические и житийные темы. И вот почему: наступило время обеднения. Произведений с предсказаниями появилось гораздо меньше, чем раньше; сами предсказания чаще всего бывали лишь единичными эпизодами в произведениях; отношение писателей к будущему редко когда выражалось отчетливо.

Для этой ситуации характерен пример **«Александрии»** (так называемой «хронографической»), переведенной на Руси в конце XII — первой половине XIII вв.[10] В ней предсказаний содержалось, правда, более чем достаточно. Но обратим внимание на их функцию: все они регулярно выполняли одну и ту же роль предупреждений о развитии сюжета «Александрии» — о зачатии Александра, об устрашающем коне Александра, о подходящем времени его рождения (роды можно было регулировать), о будущих военных победах Александра, в том числе о покорении им Персидского и Индийского царств, о создании великого града Александрии, о ранней смерти Александра. После каждого предсказания рассказывалось, как оно конкретно осуществилось. Причем последнее предсказание в тексте даже вышло за пределы «Александрии». В Индии одно из вещих деревьев провозгласило Александру: «Коньчала ти ся суть лета живота твоего… въ Вавилоне имаши погыбнути. По мале же дни мати твоя и жена твоя зле

от индъ погыбнеть» (88). О болезни и смерти молодого Александра затем, действительно, повествовалось подробно. Но вот о последующей гибели матери и жены Александра не было сказано ни слова, — повествование как бы не поместилось, но выдало авторское увлечение бесконечностью сюжета.

Будущее автор «Александрии» сделал средством завлекательности. Предсказания основывались на интригующих знамениях и содержали загадочные, не понятные слушателям намеки, реальная суть которых раскрывалась гораздо позже по ходу повествования. Так, египтяне «не разумеша» совершенно непонятное предсказание их бога Серапиона: «се бежавыи царь пакы приидеть въ Египетъ, не старъ сыи, но унъ, и врагы ваша пръсы победить» (7). Только потом, через многое время, когда предсказание сбылось, египтянам (а заодно и читателям «Александрии»), стало ясно, о каких событиях и о каком царе шла речь (35). Озадачивающие предсказания на греческом языке делали птицы («птичь пакы провеща елиньскымъ языкомъ» — 79), а на индийском языке — деревья («глас прииде индиискы от древа» — 88).

Оригинальные произведения на исторические темы в конце XII—XIII вв. демонстрировали уже почти что равнодушие авторов к будущему. Предсказания потеряли свою значимость. Показательна **повесть о походе князя Игоря на половцев** в 1165 г. в «Ипатьевской летописи»[11]. Солнечное затмение перед походом сопровождалось фактически отказом персонажа от знания будущего. Игорь фаталистически заявил: «таины Божия никто же не весть… а намъ что створить Богъ — или на добро, или на наше зло, — а то же намъ видити» (638). И дальше Игорь только и повторял: «но како ны Богъ дасть» (639, 640). Другой князь — Святослав — вторил Игорю: «воля Господня да будеть о всемь» (645). Вместо энергичных попыток предвидеть будущее персонажи руководствовались иным, пассивным принципом: «аще восхощет Богъ…» (650).

Кстати, в самом **«Слове о полку Игореве»** значимость предсказаний также была сведена к нулю[12]. Солнечное затмение, казалось бы, напрашивалось на предсказание, но Игорь даже и не подумал о нем и никак не связал с ним своего призыва к походу (потому что воинский пыл «ему знамение заступи» — 44). Знамения и далее не сопровождались предсказаниями о победе или поражении русского войска. Провидение будущего, по авторской версии, оказалось бесполезным и, например, не помогло вещему князю Всеславу: «Аще и веща душа въ дръзе теле, нъ часто беды страдаше» (54). Объяснение же стран-

ного сна князя Святослава служило вовсе не предсказанием о будущем, а символической фиксацией событий уже произошедших.

Перечислим некоторые другие произведения. В ранней вставке в первоначальный текст **«Слова Даниила Заточника»** находим сходный с летописной повестью о походе Игоря мотив отказа от предсказания[13]: «Яко же рече Святославъ князь: сынъ Ольжинъ, идя на Царьград с малою дружиною, и рече: “Братие! Намъ ли от града погинути или граду от нас пленену быти? Яко же Богъ повелить, тако будеть”» (251).

Один эпизод в **«Галицко-Волынской летописи»**[14] под 1265 г., пожалуй, тоже указывает на падение значимости предсказаний в произведениях XIII в. Явилась комета: «хитречи … рекоша, оже мятежь великъ будеть в земли, но Богъ спасеть своею волею. И не бысть ничто же» (863), — предсказание было сделано впустую и не помогло узнать будущее.

В житийных произведениях XIII в. картина была еще беднее. Если не брать распоряжений небесных лиц по поводу будущего земных персонажей (эти распоряжения, по существу, не являлись предсказаниями), то обнаруживается буквально лишь одно—два оригинальных жития с подходящими эпизодами. Так, в **«Житии Авраамия Смоленского»** помещен эпизод с предсказанием[15]. Но это вольный пересказ «Жития Иоанна Златоуста» о явлении ему апостолов Петра и Павла, предсказавших мучительную смерть преследователей Златоуста. Будущее обозначено туманно («въставшеи на тебе лютою смертью отъ Бога казнь приимуть» — 86), а главное внимание посвящено злорадному описанию мук наказанных преследователей. То есть заранее конкретно узнать будущее оказалось нельзя.

Несмотря на неполноту нашего обзора произведений конца XII—XIII вв. с предсказаниями, все же видно, насколько разнообразней и ярче была литература XI — начала XII вв. на фоне беднеющей литературы более позднего периода. Хотя в каких-то иных отношениях, помимо предсказаний, это могло быть и не так.

Перейдем к XV в. и начнем наш еще менее полный обзор со знаменитых памятников Куликовского цикла и прежде всего с **«Задонщины»**. Правда, в «Задонщине»[16] есть только одно настоящее предсказание, но зато очень яркое. Перед битвой Ослябя говорит Пересвету: «Брате Пересвете, вижу на теле твоем раны великия. Уже, брате, летети главе твоеи на траву ковыль, а чаду твоему Иякову лежати на зелене ковыле-траве на поле Куликове, на речьке Напряде…» (538. В Кирилло-Белозерском списке немного изменено: «Уже, брате, ви-

жю раны на сердци твоемь тяжки. Уже твоеи главе пасти на сырую землю, на белую ковылу — моему чаду Иякову» — 550).

Но не стоит обольщаться яркостью этого предсказания и иных обозначений будущего в «Задонщине» (например, в списке Историческом втором: «Туто погании … ркуче: “Уже намъ, брате, … трепати намъ сырая земля, а целовати намъ зелена мурова”» — 547). Для автора «Задонщины» важно было живописать саму массу погибших, — притом не столько в будущем времени, сколько в прошедшем и настоящем времени (ср.: «в трупи человечье кони не могут скочити, а в крови по колено бродят» — 539). Не удается извлечь из «Задонщины» каких-либо повторяющихся данных об отношении автора к будущему.

И все же одно незаметное свидетельство есть. Слово «вижу» в предсказании Осляби появилось не случайно. Будущее представлялось автору «Задонщины» чем-то зримым, видимым. Оттого обозначения будущего (будущих действий) у автора нередко содержали упоминания о рассматривании: «Взыдем на горы Киевския… и *посмотрим* по всеи земли Рускои» (535); «жаворонок … возлети под синее небеса, *посмотри* к силному граду Москве» (536); «сядем на добрые кони своя и *посмотрим* быстрого Дону» (536—537); «выедем, брате, в чистое поле и *посмотрим* своих полковъ» (537). Лишение чего-либо соответственно было связано с лишением увидения в будущем: «Уже нам, брате, в земли своеи не бывать и детеи своих *не видать*» (539); «уже *не вижу* (то есть не увижу) своего государя Тимофея Волуевича — в животе нету» (538).

В «Слове о полку Игореве» этот мотив смотрения был лишь единичным, даже как бы случайным (ср.: «уже намъ своихъ милыхъ ладъ… ни очима съглядати» — 24). Мотив же смотрения будущего был развит в «Задонщине», несомненно, для красочности повествования, в том числе об ожидаемом будущем. Разнообразие в отношении авторов именно к будущему все-таки не иссякало.

Последующее произведение Куликовского цикла — пространнейшее **«Сказание о Мамаевом побоище»**[17] — содержит не более трех предсказаний. Все они принадлежали важным лицам — преподобному Сергию Радонежскому, князю и воеводе Дмитрию Волынцу и святым Борису и Глебу; все предсказания повторяли одно и то же — о будущей победе русских над татарами, — но все они были высказаны очень осторожно, скупо и при этом витиевато. Сергий Радонежский сказал Дмитрию Донскому, которого какое-то время попридержал в своем монастыре: «Се ти замедление сугубо ти поспешение будеть. Не уже бо ти, господине, еще венецъ сиа победы

носити, но по минувших летех, а иным убо многым ныне венци плетутся» (31). Потом добавил яснее: «Имаши, господине, победити супостаты своя, елико довлееть твоему государьству». Дмитрий Волынец, наслушавшись ночных шумов и -послушав землю, сначала не хотел ничего говорить Дмитрию Донскому, но потом глухо упомянул: «добри суть знамениа» (40); наконец, побуждаемый Дмитрием Донским, произнес: «твоего христолюбиваго въиньства много падеть, нъ обаче твой връхъ, твоя слава будеть». Предсказание же Бориса и Глеба, по существу, являлось не предсказанием, а небесным видением. Святые с возмущением спросили татар: «“Кто вы повеле требити отечесътво наше, его же намъ Господь дарова?” И начаша их сещи и всех изсекоша» (41).

Но самая главная черта этих предсказаний — все они тайные. Сергий Радонежский при встрече с Дмитрием Донским в монастыре отпустил всю братью «и рече ему тайно» (31), наедине, и «князь же великий… не поведаеть никому же, еже рече ему преподобный Сергий» и держал в себе «аки съкровище некрадомо». Затем и «архиепископъ же повеле сия словеса хранити, не поведати никому же».

Дмитрий Волынец также наедине с Дмитрием Донским глубокой ночью в поле старался «примету свою испытати», а протолковав, предупредил великого князя: «Не подобаеть тебе, государю, того в плъцехъ поведати» (40).

Небесное явление Бориса и Глеба видел лишь один человек тоже ночью, сообщил только «великому князю единому», а великий князь распорядился: «Не глаголи того, друже, никому же» (41).

Откуда такая секретность, в чем ее смысл? Каких-либо объяснений этому феномену в «Сказании» нет. Но одно замечание в тексте памятника наводит на любопытное предположение. Когда все предсказанное свершилось (причем приметы оказались даже интереснее самого предсказания), то Дсмитрий Донской обратился к Дмитрию Волынцу: «Въистину, Дмитрей, не ложна есть примета твоа» (46). То есть у автора «Сказания» не было полной веры в предсказанное будущее. Поэтому столь важные предсказания надо было, чтобы не опростоволоситься, формулировать расплывчато, а главное — не предавать гласности.

Это еще один факт в пользу некоторого разнообразия литературы XV—XVI вв., но уже не такого бурного, как ранее. И одновременно мы наблюдаем продолжение начавшегося процесса — падения значимости предсказаний и интереса к провидению будущего в литературе.

А, например, в достопочтенном крайне риторичном **«Житии Сергия Радонежского»**, которое условно тоже можно отнести (или примкнуть) к произведениям Куликовского цикла (оно содержит эпизод благословления Дмитрия Донского Сергием), предсказания были совсем формальны и эклектичны[18]. Не менее пяти раз в одних и тех же выражениях и на основе одной и той же приметы предсказывалось славное благочестивое будущее Сергия, — просто потому, что предсказатели «позна духом будущее» (282). Сам Сергий тоже «прозорливый имея даръ, ведяше, яко близ вся бываемая» (368) и оттого предсказывал события, которые должны произойти «в сий час» или «заутра», «разуме же и преже шестих месяцеи свое преставление» (402. Все это напоминает «Житие Феодосия Печерского»). Предсказание Дмитрию Донскому находилось в ряду этих спокойных благостных представлений о будущем: «победиши и здравъ въ свое отечьство с великыми похвалами възвратишися» (386). В литературном отношении однообразные способности предсказателей и их однообразные предсказания в «Житии Сергия Радонежского» уже играли роль не более чем обязательного агиографического антуража. Однообразие побеждало.

Теперь кое-что добавим сверх памятников Куликовского цикла. **«Повесть о взятии Царьграда турками» Нестора-Искандера** своими предсказаниями подтверждает наше предположение о продуцировании однообразия в литературе XV в. Предсказания в «Повести о взятии Царьграда» ученостью их обоснования книжниками и мудрецами напоминают «Хронику» Георгия Амартола, а постоянной трагичностью — «Историю Иудейской войны» Иосифа Флавия.

И вдруг — прорыв в, казалось бы, застывающей и повторяющей традицию системе предсказаний. Имеем в виду необычное **«Житие Михаила Клопского»**[19]. Михаил Клопский, за исключением нескольких случаев, предсказывал только ближайшие болезни окружающих лиц: «будеши без рукъ и без ногъ, мало в воде не утонеши» (340); «будеши без рукъ и без ногъ и немъ» (342); «досягнеши трилакотнаго гроба» (344); «будеши похапъ», «мало поживеши» (346) и пр. Эти предсказания обычно делались обиняком: «без рукъ и без ногъ» — парализует; «похапъ» — «ни ума и ни памети» (346); «земля вопиет» (344) — вскоре преставится; «ту язъ хощю полежати» (344) — о месте своего погребения. Объяснить столь пикантные особенности предсказаний в этом житии можно новизной личности самóго предсказателя, — он юродивый или человек психически нездоровый. Можно предположить, что автор жития отошел от прежних представлений о предсказателях-книжниках или святых и на-

стойчиво вменил дар предсказательства больному человеку: оттого Михаил предчувствовал скоро наступающие болезни или смерть и выражался невразумительно, а также без положенного почтения относился к властям и знати. Персонажи называли Михаила «святым старцем», но не автор, который никакой характеристики Михаилу не дал (только заголовок, возможно, поздний, упоминает «Михайла, уродивого Христа ради» — 334).

Предположение о появлении (или выделении) в XV в. нового типа предсказателя подтверждает известный **рассказ о смерти Пафнутия Боровского**[20]. Пафнутий был хоть и не юродивый, но тоже глубоко больной человек. Он в основном предсказывал свою смерть, но так же обиняками: «ино дело имамъ неотложно … съуз хощеть раздрешитися… имам пременитися немощи моея» (480); «старець же глаголаше о некоем человеце, яко умрети имать» (506). Автор подчеркивал непонятность изречений как бы бредящего Пафнутия: «мне же недоумеющуся… о необычных его глаголехъ» (480); «сия слышаще, дивляхуся, что хотят сия быти» (496); «нам же о семъ недомыслящемся» (506). Пафнутий точно так же выказал свое непочтение к князьям и боярам, что с недоумением отмечал автор.

Таким образом, в литературе XV в. два процесса развивались как бы параллельно: нарастали обдуманное однообразие и традиционность в подаче предсказаний, и вдруг откуда ни возьмись в литературу врывался резко новый взгляд на будущее и на предсказателей. Эта странная картина требует внимательного системного изучения, но, увы, когда-то в будущем.

В XVI в. книжники почти совсем не интересовались предсказаниями, а если упоминали «пророчения» о будущем, то кратко и без каких-либо значительных новаций. Авторы предпочитали описывать «знамения» зачастую вообще без предсказаний. Исключение составляет **«Видение хутынского пономаря Тарасия»**[21]. Тарасий увидел, как в церкви в полночь из гроба встал чудотворец Варлаам Хутынский, трижды отсылал Тарасия на самый верх церкви наблюдать «знамения» на небе, предсказал «пагубу» Великому Новгороду и снова лег в гроб. В этом «Видении» многое было связано со ставшими уже традиционными представлениями о предсказателе, в ходе которого выступил даже не больной человек, а мертвец.

Своеобразие «Видения» заключалось в драматической «реалистичности» примет будущего. Их не надо было искусственно толковать, несчастья просто приблизились к Великому Новгороду и неминуемо должны были разразиться: Тарасий увидел, что над городом нависло озеро Ильмень, «хотя потопити Великий Новъградъ» (416)

— надвигался потоп; затем Тарасий увидел «множество аггелъ, стреляющих огненными стрелами, яко дождь силный ис тучи, на множества народа людскаго» (418) — быть мору, эпидемии; наконец, Тарасий увидел «тучю огнену над градомъ» (420) — «после мору будет пожаръ силенъ». Предвидение будущего пожара было совершенно прагматично: «Торговая сторона вся погорить».

Вариации очень старой традиции находим в **«Волоколамском патерике»**[22]: больному монаху ночью, но не во сне, а наяву явился «мужь светелъ» — мученик Никита Готский, — но не сообщил, как обычно, когда благочестивый болящий умрет, а, напротив, пообещал монаху еще 25 лет жизни за то, что тот не лечился у «чародеев» (85—86). Никита «язде на коне», кроме того этот «мужь светелъ» появился в контрастном сопровождении «человека черна зело», летящем на коне и пытавшемся огненным мечом «посещи» монаха. Но все эти детали ничего принципиально нового не прибавляли к традиционному представлению о предвидении будущего святыми, внося лишь некоторую драматичность в рассказ, что и являлось некоторой новацией.

Прочие предсказания в оригинальных произведениях XVI в. еще менее интересны. Например, в **«Истории о Казанском царстве»** предсказания о скором взятии Казани Иваном Грозным повторялись однообразно и не выходили за пределы формальной традиции.

В целом, бедность предсказаний в произведениях XVI в не позволяет пока сделать решительный вывод о преобладавшем однообразии литературы этого периода, хотя такое впечатление все-таки складывается.

Вопреки ожиданиям богатая и пестрая литература XVII в. (если брать непереводные произведения) демонстрирует почти полное забвение предсказаний. Из тех же предсказаний, что все-таки упоминаются, почти все традиционны, кратки и случайны. Любопытна только **«Повесть о Горе-Злочастии»**[23]. Горе-Злочастие предсказало Молодцу:

Быть тебе от невесты истравлену,
еще быть тебе от тое жены удавлену,
из злата и сребра бысть убитому (429 об.)

Здесь обращают внимание три фактора. Во-первых, предсказывать пыталось некое уродливое, даже нечеловеческое существо. Так продолжилась сравнительно новая традиция представлять именно ущербных персонажей (от больных до мертвых) способными предвидеть будущее.

Особенность Горя-Злочастия в том, что это не то чтобы сама Смерть (хотя «Горе пришло с косою вострою», но как косарь — 433), а злодейское существо, помогающее насильственной Смерти (отсюда его постоянные похвальбы и угрозы: «люди… до смерти со мною боролися… они во гробъ вселились, от мене накрепко они землею накрылис» — 429; «до смерти с тобою помучуся» — 432 об.; «умереть будетъ напрасною смертию… Горе… научаетъ… чтобы молотца за то повесили или с каменемъ въ воду посадили» — 433 об.). И все же знаменателен для ассоциации Горя со Смертью эпитет, прилагаемый к Горю, — «неминучее» («а что видит молодец неменучюю, покорился Горю нечистому, поклонился Горю до сыры земли» — 431 об.).

Второй фактор, который обращает на себя внимание: все предсказания и советы Горя молодцу — лживые, насмешливые, вредительские, что соответствует давней традиции обличать вредоносность предсказаний отрицательных персонажей. Но один раз Горе, действительно, помогло молодцу, когда он пожаловался: «Ахти мне, Злочастие горинское… уморило меня, молотца, смертью голодною… Ино кинус я, молодецъ в быстру реку» (430 об.). Горе его отговаривало («и не мечися в быстру реку» — 431) и успокоительно предсказало:

> И ты будешъ перевезенъ за быструю реку,
> напоятъ тя, накоръмят люди добрыя (431 об.)

И это предсказание сбылось! Но не потому, что Горе пожалело молодца, а потому что, по его мнению, оно завербовало себе сторонника или слугу («того выучю я, Горе злочастное… Покорися мне, Горю нечистому» — 431). Но, когда молодец попытался отделаться от Горя, игра со смертью возобновилась.

Третий уже совсем необычный фактор в предсказаниях Горя: все его предсказания и советы о будущем — сугубо бытовые (ср и далее: «Быть тебе, травонка, посеченои… Быть тебе, рыбонке, у бережку уловленои, быть тебе да и съеденои» — 433—433 об.).

Отмеченные особенности предсказаний «Повести о Горе-Злочастии» независимо от «Повести» с той или иной степенью сходства повторялись в древнерусской литературе второй половины XVII в. Так, в «Житии» Аввакума[24] возник ущербный тип предсказателя — волхв (на этот раз сибирский), — карикатурно связанный со смертью, но уже не человека, а барана («волъхвъ же той, мужикъ… привел барана живова в вечеръ и учалъ над нимъ волъхвовать, вертя ево много, и голову прочь отвертелъ и прочь отбросилъ» и т.д. — 370). Предсказание волхва-шамана отряду русских казаков, конечно, оказалось ложным

(«с победою великою и с богатъствомъ большим будете назадъ», — вместо этого «войско… побили, все, без остатку» — 370, 372).

Если нечистая сила и помогала герою произведения, то имея свой интерес, как например, бес помогал Савве Грудцыну за его душу в продвижении по службе в **«Повести о Савве Грудцыне»**.

Сугубо бытовой характер предсказанного будущего, видимо, также стал обычен в литературе второй половины XVII в. Так, в **«Житии Варлаама Керетского»**[35], от которого ждать каких-либо новаций не приходится, встречается следующее «чюдо»: лодью некоего купца затерло во льдах; во сне купцу явился святой Варлаам и завел разговор, как простой встречный («далече ли путь вашъ, братие?» — 308); затем предсказал: «Богъ дастъ вамъ путь чистъ»; и, что наиболее интересно, сам, как простой матрос, «начат лды роспихивати». Купец проснулся и увидел уже наяву: «бысть яко дорога сквозе льда».

В общем, если ограничиваться предсказаниями, литература XVII в., конечно же, отличалась от литературы XVI в. большим разнообразием и большей смелостью в обновлении традиций.

Цельная же (но предварительная) картина эволюции предсказаний в древнерусской литературе XIII—XVII вв. свидетельствует о своего рода плавности в соотношении явлений однообразия и разнообразия: оба процесса развивались, не слишком опережая друг друга.

Примечания

[1] Под летописцем мы подразумеваем всех составителей «Повести временных лет» вкупе, не проводя между ними различия. Летопись цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1: Лаврентьевская летопись / Изд. подгот.е.Ф. Карский. Столбцы указываются в скобках. Все древнерусские тексты здесь и далее передаются с упрощением орфографии.

[2] См.: Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 41—61. См. также: Демин А.С. Поэтика древнерусской литературы (XI—XIII вв.). М., 2009. С. 163—164. «Повесть временных лет» и «Хроника» Георгия Амартола.

[3] «Хроника» Георгия Амартола цитируется по изданию: Истрин В.М. Книги временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1. Столбцы указываются в скобках.

[4] О времени перевода см.: Мещерский Н.А. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 15, 97—121. Текст перевода «Истории Иудейской войны» цитируется по названной книге Н.А. Мещерского. Страницы указываются в скобках.

[5] Н.А. Мещерский (с. 110—112) отметил стилистическое и фразеологическое сходство между «Повестью временных лет» под 1024, 1054, 1068—1071, 1073 гг. и переводом «Истории» Иосифа Флавия. Добавим, что еще есть явное фразеологическое

сходство между «Повестью временных лет» под 971 г. (речи Святослава перед войском, 69, 70) и переводом «Истории» Флавия (речь иудейского царя Ирода I перед войском, 201—202), а также между летописью под 988 г. (описание болезни Владимира, 111) и переводом «Истории» Флавия (описание болезни иерусалимского царя Александра, 175); см. также сообщения о давании дани (летопись, 17, и «История», 252). Разумеется, речь может идти не о взаимозависимости двух текстов, а о их принадлежности к общему стилистическому фонду того времени.

[6] «Сказание о Борисе и Глебе» и «Чтение о Борисе и Глебе» цитируются по изданию: Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот.д.И. Абрамович. Пг., 1916. Страницы указываются в скобках.

[7] «Житие Феодосия Печерского» цитируется по изданию: Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О.А. Князевская, А.Г. Демьянов, М.В. Ляпон. М., 1971. Столбцы указываются в скобках.

[8] «Киево-Печерский патерик» цитируется по изданию: ПЛДР: XII век / Текст памятника подгот. Л.А. Дмитриев. М., 1980. Страницы указываются в скобках.

[9] См.: Демин А.С. Поэтика древнерусской литературы: (XI—XIII вв.). М., 2009. С. 15—38, 69—85, 113—136, 186—229.

[10] См.: Истрин В.М. Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. С. 135, 139. Текст памятника цитируется по тому же изданию, по разделу «Приложения». Страницы указываются в скобках.

[11] Летописная повесть цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А.А. Шахматов. Столбцы указываются в скобках.

[12] Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л.А. Дмитриев и Д.С. Лихачев. Л., 1967. Страницы указываются в скобках.

[13] О вставке см.: Соколова Л.В. К характеристике «Слова Даниила Заточника. (Реконструкция и интерпретация первоначального текста) // ТОДРЛ. СПб., 1993. С. 244, 247, 251. Текст вставки цитируется по названной работе, страница указывается в скобках.

[14] «Житие Авраамия Смоленского» цитируется по изданию: ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот.д.М. Буланин. М., 1981. Страница указывается в скобках.

[15] «Галицко-Волынская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 2. Столбцы указываются в скобках.

[16] «Задонщина» цитируется по изданию: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: к вопросу о времени написания «Слова» / Тексты памятника подгот. Р.П. Дмитриева. М., 1966. Страницы указываются в скобках. За основу взят список Ундольского.

[17] «Сказание о Мамаевом побоище» цитируется по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника Основной редакции подгот. В.П. Бударагин и Л.А. Дмитриев. Л., 1982. Страницы указываются в скобках.

[18] «Житие Сергия Радонежского» цитируется по изданию: ПЛДР: XIV — середина XV века / Текст памятника подгот.д.М. Буланин. М., 1981. Страницы указываются в скобках.

[19] Первая редакция «Жития Михаила Клопского» цитируется по изданию: ПЛДР: Вторая половина XV века / Текст памятника подгот. Л.А. Дмитриев. М., 1982. Страницы указываются в скобках.

[20] Рассказ о смерти Пафнутия Боровского цитируется по изданию: ПЛДР: Вторая половина XV века / Текст памятника подгот. Л.А. Дмитриев. Страницы указываются в скобках.

[21] «Видение хутынского пономаря Тарасия» цитируется по изданию: ПЛДР: Конец XV — вторая половина XVI века / Текст памятника подгот. Р.П. Дмитриева. М., 1984. Страницы указываются в скобках.

[22] «Волоколамский патерик» цитируется по изданию: Древнерусские патерики / Изд. подгот. Л.А. Ольшевская и С.Н. Травников. М., 1999. Страницы указываются в скобках.

[23] «Повесть о Горе-Злочастии» цитируется по факсимильному воспроизведению рукописи в издании: Симони П.К. Повесть о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи XVIII века // СОРЯС. СПб., 1907. Т. 83, №1. В скобках указываются листы рукописи.

[24] «Житие» Аввакума цитируется по изданию: ПЛДР: XVII век, кн. 2 / Текст памятника подгот. Н.С. Демкова. М., 1989. Страница указывается в скобках.

[25] «Житие Варлаама Керетского» цитируется по изданию: ПЛДР: XVII век, кн. 2 / Текст памятника подгот. Л.А. Дмитриев. Страница указывается в скобках.

2. «Зверскость» злодеев в древнерусской литературе

Мы предлагаем краткое обозрение одного небольшого мотива «зверскости» злодеев в оригинальных (непереводных) древнерусских памятниках, наиболее известных. Какова его роль?

Произведения XII—XVI вв.

Самые ранние «зверские» злодеи в древнерусской литературе — это язычники. В начале **«Повести временных лет»** летописец изобразил звериную хищность деревлян: «древляне живяху *звериньскимъ* образомъ, живуще скотьски: убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху уво́ды девиця» (13)[1].

Представление о зверской хищности деревлян, по-видимому, было свойственно именно летописцу, а не заимствовано им откуда-то. Так, хотя сходный фразеологический элемент присутствовал в характеристике язычников в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, но Иларион, в отличие от летописца, имел в виду идейное невежество язычников: «прежде бывшемъ намъ, *яко зверемь* и скотомъ, не разумеющемь деснице и шюице, и земленыих прилежащем, и нимала о небесныих попекущемся» (24)[2].

Летописец и далее писал о «зверскости». Так, он выписал характеристику иных язычников из «Хроники» Георгия Амартола, но в «Хронике» говорилось не о зверской хищности язычников, а об их «скотскости» и дикости: индийцы «убиистводеици… человекъ ядуще и страньствующихъ убиваху; паче же ядять, *яко пси*. Етеръ же законъ халдеемъ и вавилонямъ: матери поимати, съ братними чады блудъ деяти, и убивати… Амазоне же мужа не имуть, но и, *аки скотъ* бес-

ловесныи, но единою летомъ къ вешнимъ днемъ оземьствени будуть и сочтаются съ окрестныхъ имъ мужи» (15—16)[3]. Летописец добавил «зверскость» к скотскости.

Далее в «Повести временных лет» летописец обвинил в «зверскости» и другие языческие племена: «и радимичи, и вятичи, и северъ одинъ обычаи имяху: живяху в лесе, *яко же и всякии зверь*, ядуще все нечисто» (13—14). Резкость высказываний летописца несомненна. Язычество еще было живо.

Однако все-таки о тактичности обличения язычников свидетельствует то, что по отношению к «поганым» половцам летописец избегал прямых обвинений в «зверскости». Понятна подобная осторожность летописца в обрисовке половцев, с которыми русские то воевали, то мирились и заключали военные и брачные союзы.

Прочие летописные упоминания «зверскости» злодеев относятся уже к злодеям из христиан, но эти характеристики совершенно традиционны. Так, в летописной статье «О убиеньи Борисове» (под 1015 г. и под 1019 г.) упоминание о зверской хищности относилось к убийцам Бориса: «и се нападоша, *акы зверье дивии*, около шатра, и насунуша и копьи, и прободоша Бориса и слугу его» (134, под 1015 г.). Сравнение нападавших злодеев с дикими зверьми было традиционным эталоном свирепости. Сравнение это встречалось, например, и в переводной «Повести о святом Авраамии» Ефрема («*яко зверие дивии*, устремиша ся на нь, и биюще» — 477[4]); в «Житии Феодосия Печерского» Нестора («устрьмиши ся на ня, *акы зверие дивии*» — 104[5]); в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора же («рикающе, *акы зверие дивии*, поглотити хотяще праведьнаго», «*акы зверие дивии*, нападоша на нь», «устремишася по немь, *акы зверие дивии*» — 10—12[6]). Таких эталонов-символов было множество (см. работы В. П. Адриановой-Перетц).

В произведениях после «Повести временных лет» мало что прибавилось нового; авторы ограничивались только мелкими единичными новациями. Повествовательная книжность оставалась элитарной.

Владимир Мономах в **«Поучении»** для своих детей использовал образ волчьей хищности половцев: «ехахом сквозе полкы половьчские не въ 100 дружине и с детми и с женами, и облизахуся на нас, *акы волцы*, стояще» (249)[7]. Сопоставление половцев именно с облизывающимися волками было очень живым, явно нетрадиционным и отражало охотничий опыт наблюдательного Мономаха. О своих охотничьих «ловах» Мономах подробно повествовал в «Поучении».

Летописи XII—XIII вв. совсем не внесли ничего нового в традицию изображения злодеев, постоянно сравнивая их со свирепыми

зверьми, насыщающимися кровью и борзо передвигающимися. Встречается лишь одно исключение. Во **«Владимиро-Суздальской летописи»** под 1169 г. (а в Галицко-Волынской летописи» под 1172 г.) содержится ругательный рассказ о владимирском епископе Феодоре, подвергнутом казни за жестокие муки неугодных ему людей, «от *звероядиваго* Феодорца погыбающим от него» (357)[8]. Летописец постарался собрать всевозможные положенные проклятия злодею против «злаго, и пронырливаго, и гордаго лестьца, лжаго владыку Феодорца» (255. В рифму сказано!), «безъмилостивъ сый мучитель» (356) и пр. Но необычно обвинение злодея в бешеной, нечеловеческой энергии, даже не зверской, а адской: «именья бо бе не сытъ, *акы адъ* … яко и сего доведоша беси, възнесше мысль его до облакъ, и устроивше в немь 2-го Сотонаила, и сведоша ѝ въ адъ» (356). Откуда явилось это сравнение злодея с адом, — не ясно. Безумная энергия являлась признаком злодейских персонажей.

Прочие произведения разных жанров XII—XVI вв., говоря о злодеях, тоже повторяли в разных вариантах традиционные выражения о зверях и волках, об аспидах и ехиднах, ядовитых змеях и львах. Разве что в **«Житии Авраамия Смоленского»** Ефрема встречаем новое сравнение: местные попы «хотеша бес правды убити» Авраамия, и на суде «бе-щину попомъ, *яко воломъ*, рыкающимъ» на блаженного (82)[9]. Рычащих зверей, в том числе львов, заменили волы.

Причиной этого единичного отступления от традиции, скорее всего, было влияние бытовых представлений автора, эпизодически проявлявшееся в «Житии» (вот некоторые бытовые детали, использованные автором: Авраамий «черну браду таку имея, плешиву разве имея главу» — 78; «яко птица, ятъ руками» — 80; «языкъ, яко заты̀ка, въ устехъ бяше» — 86; «скупи ограды овощныя» — 90; «онъ рогоже положи и постелю жестоку» — 98; и т. п.). Влияние хозяйственного быта на литературу как раз возросло именно с XV в.

Сходное явление встречаем и через 200 лет в **«Житии Евфросина Псковского»** Василия: на псковских монахов горожане «*яко осы или яко пчелы* сотъ, разсверепевше, наскакаху … уязвляюще» (92—93)[10]. Пчелы из символа книжной премудрости оказались переосмыслены в то, чем они являются в реальной жизни. Связи между Василием и Ефремом в данном случае не было никакой. Исподволь влиял быт.

Зримые детали прибавились в описания «зверскости» злодеев в повестях XV—XVI вв. о восточных нашествиях на Русь. Все враги пребывали в дикой ярости. В так называемой, пространной летописной **повести о Куликовской битве** Мамай «сеченыа свои видевъ,

възьярився зраком, и смутися умомъ, и распалися лютою яростию, аки аспида некаа, гневом дышуще … преступааше, аки змиа къ гнезду, … на крестьяньство…» (19)[11], — обратим внимание на зримое описание зверского гнева Мамая: «възьярився зраком».

В других повестях о Куликовской битве такой детали нет. Ее появление объясняется некоторой склонностью автора к изобразительности, — в частности, к упоминанию лиц персонажей («бился с тотары в лице», «лице свое почну крыти» — 22; «отврати, Господи, лице свое от них» — 18; «очи нашы не могут огненыхъ слез источати» — 21); кроме того, автор указывал внешнее состояние оружия и доспехов («беаше видети всь доспехъ его битъ и язвен» — 22; «поострю, яко молнию, мечь мой» — 18; «пошли … на остраа копья» — 19); автор как бы лицезрел окружающую обстановку («бысть тма велика по всей земли: мьгляне бо было беаше того от утра … бе бо поле чисто и велико зело … и покрыша полки поле» — 20; «прольяша кровь, аки дождева туча, … паде трупъ на трупе … видеша полци — тресолнечный полкъ и пламенныа их стрелы» — 21; воины «оступиша около, аки вода многа, обаполы» — 22). По-видимому, пространная летописная повесть была составлена гораздо позже Куликовской битвы (см. об этом цикл работ М. А. Салминой), — оттого автор уже в новом стиле украсил повествование небольшими картинками и изобразил злодея с яростным лицом.

Манера изобразительного украшения воинских повестей, написанных гораздо позже описываемых событий, распространилась в XVI в. Так, в **«Повести о разорении Рязани Батыем»** среди частых упоминаний о зверской ярости врага сказано, что «окаяный Батый и дохну *огнем* от мерскаго сердца своего» (188)[12]. Эта «огненная» деталь своеобразна и связана с тут же развертывающимся рассказом о сожжении Рязани: «приидоша погани … *с огни* … священическый чин *огню* предаша, во святй церкве *пожегоша* … и весь град *пожгоша*» (190).

В другом произведении — **«Сказании о Мамаевом побоище»** — обуреваемый зверской же яростью Мамай, обещавший убить Дмитрия Донского, почему-то срывается на крик, — деталь тоже редкостная: «Онъ же нечестивый царь, разженъ диаволом на свою пагубу, *крикнувъ* напрасно, *испусти гласъ*: “Тако силы моа, аще не одолею русскых князей, тъ како имамъ възвратитися въ своаси?…”» (38)[13]. Причина упоминания крика (восклицания) заключалась в том, что у автора повести Мамай всегда во всеуслышание объявлял о своих злодейских планах и опасениях.

Но зримые предметные детали еще тонули в риторике. Например, бесконечные украшения речи, риторические компиляции и распространения традиционных выражений о «зверскости» и «скотскости» врагов и недругов в изобилии содержала так называемая московская **«Повесть о походе Ивана III на Новгород»**: «мужие новгородьстии лукавствомъ своея злыя мысли възгордевшеся»; «*яко волкъ*, чрезъ ограду хотяше влезти ко овцамъ…»; «*яко же аспида* глуха, затыкающи уши свои»; «мечющеся … на лесъ, *яко скотъ*, бредяху» и мн. др. (3, 6, 8, 11)[14].

Таким образом, традиция изображения злодеев древнерусскими писателями сочетала обязательное единообразие схем и символов с разнообразием небольших новаций.

Более крупное отступление от традиции произошло в **«Повести о Тимофее Владимирском»**, сюжет которой был совершенно уникален: молодой православный священник бежал в Казань, стал воеводой у казанского царя и, «бусарманскую срацынскую злую веру приятъ … золъ гонитель бысть и лютъ кровопийца христианескъ пролияти кровь неповинных руских людей» (48, 60)[15]; но через 30 лет злодей раскаялся, и автор повести вдруг увидел, как выглядел раскаявшийся злодей: «верстою бы онъ в пятьдесят летъ бывъ» (64); если перед раскаянием он еще взирал «ярыма своима очима *звериныма*», то после раскаяния так «плакася от полудне того до вечера, донеле гортань его премолча и слезы исчезосте от очию его» (60). Автор очертил позы раскаявшегося предателя: «сшед с коня, о землю убивашеся» (60); «свержеся с конех своихъ долу на землю» (64); «спа до утра на траве» (62); и умирая, «нози свои, яко живъ, простре» (64). Одежды персонажа также обозначил автор: мятущийся Тимофей то «пременив образ свой поповский и облечеся в воинскую одежду» (58), то стал носить «драгия ризы», но в конце концов «облече на него смиренныя … одежды» (64). Кони, на которых ездил Тимофей, также не были обойдены вниманием автора повести: «гнаше … на дву скорых драгих конехъ», а «на них басманы великие полны насыпаны злата, и сребра, и драгихъ каменей» (64, 66). Все эти детали автор не помышлял объединить в портрет человека, а в рассыпанном виде упоминал в тексте повести. Но необычно само сочувственное «оживление» злодея.

Объяснить оправдание злодея можно устным источником автора, который в конце повести приписал: «Сия ж повесть многа летъ не написана бысть, но тако в людехъ в повестех ношашеся. Аз же слышахъ от многихъ сие и написахъ ползы ради…» (66). Но независимо от того, какова была легенда и как ее переложил автор письменной

повести, мы обнаруживаем любопытный факт: житийная традиция изображения праведников, их лиц, поз, одежд и пр., была перенесена, как нетрудно убедиться, на изображение великого грешника.

Перейдем к более позднему времени и уже к иному процессу. Во второй половине XVI в. литература пошла по пути обильного компилирования и нагнетания признаков, традиционно приписываемых особо лютым злодеям. Например, в **«Казанской истории»** автор создал условный образ: казанский царь Улу-Ахмет «возведе очи своя *звериныя* на небо», «поскрежета зубы своими, *яко дикий вепрь*, и грозно возсвиста, *яко страшный змий* великий … *яко левъ*, рыкая и, *яко змий*, страшно огнемъ дыша» (322, 324)[16]. Иногда образ злодея у автора повести становился более реальным, хотя и оставался гиперболическим, вроде татарского богатыря Аталыка: «Величина же его и ширина, аки исполина; очи же его бяху кровавы, *аки у зверя* или человекоядца, велики, *аки буявола*» (352). Автор был в своем роде политическим романтиком, сгущал краски для радостного финала, потому что писал, по его определению, «новыя повести сея … яко да, прочетше, братия наши воини и от скорби пременятся, простии же ту возвеселятся» (300), — успокоительное указание, спускаемое, так сказать, сверху вниз.

«Степенная книга» была гораздо более консервативна; и все же, хотя и в единичных случаях, ее составитель вносил дополнительные детали в описания, становившиеся от этого едко карикатурными: Батый «*яко же некий зверь*, вся поядая, останки же ноготьми растерзая» (262)[17]. Официозно-политический нажим «утяжелял» литературную традицию изображения злодеев.

Элементы образности еще сильнее «утяжелились» в **«Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков»**. «Зверскость» Стефана и его войска автор обозначил не только густыми сочетаниями обычных символов (голодный зверь, аспид, змий, жало, яд, волки и пр.), но однажды увлекся развернутым образом крылатого огнедышащего змея и дыма: «яко несытый ад, пропастныя своя челюсти роскидаша и оттоле града Пскова поглотити хотяше. Спешнее же и радостнее ко Пскову, яко из великих пещер *лютому великому змию*, летяше. Страшилищами же своими, яко искры огнеными дым темен, на Псков летяше… И тако все, *яко змии* на крылех, на Псков град леташе и сего горделивством своим, яко крылами, повалити хотяше; *змеиными* языки своими вся живущия во граде Пскове, яко жалами, уморити мняшеся» и т.д. (424, 426)[18]. Автор повести там, где он писал о Стефане Батории и его войске, создал, в сущности нечто вроде злорадного памфлета. На это указывает, в частности, авторское рассуж-

дение, следующее сразу же за образом змея и черного дыма: «От полуденныя страны богохранимого града Пскова дым темен: литовская сила на черность псковския белыя каменные стены предпослася, ея же ни вся литовская земля очертети не может». И далее: «И сий, *яко дивий вепрь* из пустыни, прииде сам литовский король… Сий же неутолимый *лютый зверь* несытною своею гладною утробою пришед … всячески умом розполашеся…» (428).

Произведения XVII в.

В произведениях, рассказывающих о событиях Смутного времени, вовсю расцвела эмоциональная традиция сравнивать врагов со злыми волками, лютыми львами, змиями, аспидами, скорпионами и пр. Но появились и многочисленные новации.

Начнем с рассмотрения **«Новой повести о преславном Российском царстве».** В авторские проклятия злодеям проникла некая хозяйственная тема. Автор повести, наряду с упоминанием экзотических животных, стал ориентироваться и на животных бытовых, домашних. Так, злодей был сравнен с жеребцом: наш «аки прехрабрый воин лютаго, и свирепаго, и неукротимаго *жребца*, ревущаго на мску, браздами челюсти его удержеваетъ, и все тело его к себе обращаетъ, и воли ему не подастъ» (34)[19]. Злодеи неоднократно напоминали автору повести лающих псов: «начатъ, *аки* безумный *песъ*, на аеръ зря лаяти… *яко песъ*, лаялъ и бранилъ» (42); предать врагам, «*аки псомъ* на снедение» (40).

Дело в том, что, изображая врагов-захватчиков, автор исходил из неотчетливого представления то ли о неухоженной усадьбе, то ли о запущенном хозяйственном дворе. Поэтому злодеев он выдавал за сорняки, за вредоносные корни: «чтобы от того гнилаго, и нетвердаго, горкаго, и криваго корении древа … отвратити … и злое бы корение и зелие ис того места вонъ вывести (понеже много того корения злаго и зелия лютаго на томъ месте вкоренилось)» (28); «чего … злому корению и зелию даете в землю вкоренятися и паки, аки злому горкому педыню, распложатися?» (48); «сами в свою землю и веру злое семя вкореняемъ» (50).

Но особенно ясно бытовые ассоциации автора проявились в сценках поведения врагов-хитрых злодеев. Это: развернутое сравнение с корыстным женихом («не по своему достоянию … хощетъ пояти за ся невесту красну, и благородну, богату же, и славну, и всячески изрядну. И нехотения ради невестина и ея сродниковъ … не можаше ю вскоре взяти» и пр. — 30); сравнение с бесчестными покупателями-

насильниками («куплыствуютъ не по цене, отнимаютъ силно, и паки не ценою ценятъ и сребро платят, но с мечемъ над главою стоятъ» — 48); сравнение с раболепными нищими перед богачом («смотрят из рукъ и ис скверныхъ устъ его, что имъ дастъ и укажетъ, яко нищии у богатаго проклятаго» — 46); сравнение с буйным скандалистом (на свою жертву «нелепыми славами, аки сущий буй, камениемъ на лице … метати, и … безчестити, и до рождшия его неискуснымъ и болезненым словомъ доходити … шуменъ былъ и без памяти говорил» — 42). В общем, изображение врагов-злодеев разворачивалось у автора повести как бы на фоне неладной городской жизни.

В последующих произведениях о Смуте среди привычных сопоставлений злодеев с привычными же зверями начали накапливаться мотивы, относящиеся к реальным животным. Пожалуй, первые элементы этого появились в **«Сказании»** Авраамия Палицына, вообще-то очень скупом в употреблении сравнений, но все-таки: «*яко* лютыя *лвы ис пещер и из дубрав*»; «ползающе, *аки змия*, по земли *молком*»; «*лукави* суще, *яко лисица*» (212, 248, 268)[20].

Особенно же много сопоставлений из мира реальной природы, примененных к злодеям, скопил в своем **«Временнике»** велеречивый Иван Тимофеев. Прежде всего, он снабдил более или менее реалистичными дополнениями тех животных, которыми традиционно обозначали злодеев. Так, змий получил хвост и зубы: злодей «яко змий, держася, обвив хоботом своим»; «окруживше объятием, яко велий змий хоботом»; «враждебно, яко змиеве, своими зубами держащих» (79, 141, 119)[21]. Змеи стали шипеть: «яко змиев, гнездящихся и сипящих» (165). Аспиды стали показывать пасть: «поглощения гортани зубов оного аспида» (80); «зиянием горла он си един, яко аспида, устраши» (131). Просто звери тоже стали показывать себя: «яко в берлозе дивия некако, лестне крыяся» (53); «яко же зверь некий, обратився навспять, зубы своими угрызну» (73). Вепрь стал вести себя мирно, но хищно: «яко вепрь, тайно нощию от луга пришед … кости ми оглада» (78). Псы, олицетворяющие злодеев, тоже стали у автора конкретнее: «яко в просту храмину … пес со всескверновою сукою … вскочи» (88); «уже от сухих костей, подобно псу, тех сосет мозги» (78—79); «егда по случаю некако пес восхитит негде … снедь … бежит в место тайно тоя снести. Прочии же пси, таковое узревше восхищенное, у единого отъемлют и наслажаются вси купно … пожидают же растерзательно и небрежно, обаче и растрашают много, прерывающе … обидимым изгрызатися» (89), — целая картинка, наблюденная автором в жизни города или села.

Появились во «Временнике» и менее традиционные существа, символизирующие злодеев, например, козлы: «яко козел, ногама збод и … долу сверг» (46); «яко дивий козел, овна рогами збод» (72).

Наконец, памятливый наблюдатель природы Иван Тимофеев охотно сравнивал злодеев с неприятными и опасными явлениями, — с нечистотами, тучами, ночной тьмой, пожаром и дымом: «яко многомутныя *нечистоты* воды от скверных мест … собранием истекоша» (141); «яко темен *облак* возвлекся от несветимыя тмы» (83); «яко … мрачен *облак* тмы исполнися» (88); «яко *нощь* темна видением зряхуся» (13); «яко *главню* некую, искр полну, ветром раздомшую… внесоша … яко саморазжено углие огнено … к запалению совнесше … все огнем запальше, испепелиша» (14); «яко *дым* по воздуху разшедшеся» (32); «яко огню *дымоподобие* некаку … курящуся» (47). Автор «Временника», изображая злодеев, развил изобразительно-политический подход «Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков» и «Новой повести о преславном Российском царстве».

Прочие произведения о Смуте не отличались оригинальностью в изображении «зверскости» злодеев, изредка вводя новые реальные детали из мира природы (ср. в **«Хронографе 1617 г.»**: «аки злый *вранъ*, иже злобою очерненый»; «аки злодыхательная *буря* надымаяся» — 322, 332[22]).

В более поздних произведениях XVII в., уже не посвященных событиям Смутного времени, злодеев было немного. В первую очередь надо рассмотреть необычный литературный шедевр — **«Повесть о Горе-Злосчастии»**.

У Горя можно отметить четыре своеобразные черты. Во-первых, Горе, конечно, злодей, но злодей странный, с ослабленными элементами «зверскости». Горе никого не убивает и не мучает. Оно только навязчиво преследует Молодца: «Стои ты, Молодецъ! Меня, Горя, не уидешъ никуда» (XVII); «не на час я к тебе, Горе-Злосчастие, привязалося» (XX); «с тобою поиду подъ руку под правую» (XXI)[23]. Горе только стращает Молодца смертью: «бывали люди у меня, Горя, и мудряя тебя, и досужае, и я их, Горе, перемудрило… до смерти со мною боролися… не могли у меня, Горя, уехати… они во гробъ вселилис» (XIII); «быть тебе от невесты истравлену, еще быть тебе от тое жены удавлену, и з злата и сребра бысть убитому»; «хошь до смерти с тобою помучуся… кто в семю к нам примещается, ино тот между нами замучится» (XX); «умереть будетъ напрасною смертию», «чтобы Молотца за то повесили или с каменемъ въ воду посадили» (XXII).

Горе у автора повести предстало, как этот камень на шее: его не уничтожают и не прогоняют, оно есть — и приходится его терпеть.

Вторая черта Горя — его погруженность в быт. Горе преследует Молодца, так сказать, охотничьими и хозяйственными способами: в просторном поле «злое Горе … на чистомъ поле Молотца въстретило, учало над Молодцемъ граяти, что злая ворона над соколомъ… Горе за ним белымъ кречетомъ… Горе за нимъ з борзыми вежлецы… Горе пришло с косою вострою… Горе за ним с щастыми неводами» (XX—XXI).

Третья черта Горя: по сравнению с прошлыми изображениями злодеев автор повести представил Горе в приземленно бытовом виде, но не зверском или скотском. Горе, скорее, напоминает прилипчивого и наглого алкоголика: «хочу я, Горе, в людех жить, и батогомъ меня не выгонит; а гнездо мое и вотчина во бражниках» (XIII); «босо, наго, нетъ на Горе ни ниточки, еще лычкомъ Горе подпоясано, багатырскимъ голосомъ воскликало» (XVI—XVII). Горе похоже на пьяниц из другого произведения — из «Службы кабаку», где постоянны и часты упоминания «наготы-босоты» пьяниц, которые «горлы рыкают» и, обретаясь в кабаке, «яко ворона по полатям летает» (206, 198, 201)[24]. Бытовые мотивы вышли на первый план при изображении Горя-Злосчастия, полностью вытеснив влияние политики, потому что Горе — «свой», российский персонаж, а не иностранный злодей, как это было в литературе ранее. Можно предположить, что «природо-хозяйственное» изображение российских пособников внешних врагов в какой-то мере помогло переходу к изображению злодея внутрироссийского, бытового.

Четвертая черта: Горе более зловеще, чем просто опустившийся пьяница или «лихой человек», который «в тотъ час у быстри реки скоча … из-за камени» (XVI). У Горя нет лица, и «серо Горе горинское» (XIII). Оно, как оборотень, только прикидывается перед Молодцем то человеком «голеньким»; то божественным вестником архангелом Гавриилом; то, подобно «людям добрым», якобы благим наставником; то охотником; то рыболовом; то вроде бы превращается в хищную птицу. На беса оно все-таки не похоже, потому что бесы в состоянии наслать на человека болезнь и смерть, а Горе этого сделать не может и не хочет. Кроме того, бесы жестоко шалят в монастырях и монастырских кельях (ср. «Повесть временных лет»), а «Горе у святых воротъ оставается, к Молотцу впредь не привяжетца» (XXII). Вероятно, автор повести исходил из представления, что Горе — это не бес, а какая-то более слабая, притом бытовая, нечистая сила. Недаром

Горе предлагает Молодцу: «покорися мне, Горю *нечистому*» (XVII), — тут у эпитета «нечистый» двойной смысл, прямой и переносный.

В общем, в «Повести о Горе-Злосчастии», по-видимому, отразились минорное настроение автора через полвека после преодоления Смуты.

Затем, в последней четверти XVII в., о «зверскости» злодеев-никониан упорно писали старообрядческие деятели, особенно Аввакум. Однако новаций у него было очень немного. Так, Аввакум в своем **«Житии»** применял к злодеям (к патриарху Никону, никонианам, властям и «начальникам») в основном сравнения старой традиции, — с дикими зверьми, волками, адовыми псами; но также сравнения относительно более поздней демократической традиции, — например, с лукавыми лисами. Аввакум обращался и к ярко индивидуальным сравнениям из области быта и реальной природы: «власти, *яко козлы*, пырскать стали на меня» (379); «оборвали, *что собаки*» (380); «*что волъчонки*, вскоча, завыли» (384)[25].

Есть в «Житии» Аввакума удивительное описание злодея, — жестокого воеводы Пашкова, когда из неудачного похода, еле спасшись, вернулся его раненный сын, за которого воевода очень беспокоился: «Он же Пашковъ, оставя застенокъ, к сыну своему пришел, *яко пьяной, с кручины*»; тут же присутствовал Аввакум, которого Пашков собирался пытать в застенке: «Пашковъ же, возведъ очи свои на меня, — слово в слово, *что медведь моръской белой,* — жива бы меня проглотилъ, да Господь не выдастъ! — вздохня, говоритъ… Десеть летъ онъ меня мучилъ, или я ево — не знаю, Богъ розберетъ в день века» (372). В приведенных двух сравнениях отразилось и представление Аввакума о внешнем виде Пашкова (грузный, седой); и сочувствие своему мучителю, пребывающему в «кручине» (это подметил Д. С. Лихачев); и ощущение сдерживаемой «зверскости» врага. Множественность смыслов сценки свидетельствует, что Аввакум создал полнокровный художественный образ, выразив свое живое впечатление от события.

Обозревая (конечно, крайне неполно и поверхностно) историю мотива «зверскости» злодеев в древнерусской литературе за 700 лет, мы можем констатировать следующее: бурного развития этого косного многовекового литературного мотива, в сущности, не происходило; он, как правило, допускал хоть и выразительные, но лишь эпизодические дополнения. Мотив «зверскости» злодеев, несмотря на его мелкость, — один из «стержней», скреплявших в единое целое древнерусскую литературу.

Примечания

[1] «Повесть временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот.е. Ф. Карский.

[2] «Слово о Законе и Благодати» цитируется по изданию: Идейно-философское наследие Илариона Киевского / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. М., 1986. Ч. 1.

[3] См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 46—47; *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1: Текст. С. 50.

[4] «Повесть о святом Авраамии» Ефрема цитируется по изданию: Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.

[5] «Житие Феодосия Печерского» цитируется по изданию: Успенский сборник XII—XIII вв.

[6] «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора цитируется по изданию: Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916.

[7] «Поучение» Владимира Мономаха цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.

[8] «Владимиро-Суздальская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.

[9] «Житие Авраамия Смоленского» цитируется по изданию: ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот.д. М. Буланин. М., 1981.

[10] «Житие Евфросина Псковского» Василия цитируется по изданию: Пам. СРЛ. СПб., 1862. Вып. 4 / Изд. подгот. Н. Костомаров.

[11] Пространная летописная повесть о Куликовской битве цитируется по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Л., 1982.

[12] «Повесть о разорении Рязани Батыем» цитируется по изданию: ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот.д. С. Лихачев.

[13] «Сказание о Мамаевом побоище» цитируется по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев.

[14] Московская «Повесть о походе Ивана III на Новгород» по Бальзерову списку цитируется по изданию: ПСРЛ. СПб., 1853. Т. 6.

[15] «Повесть о Тимофее Владимирском» цитируется по изданию: ПЛДР: конец XV — первая половина XVI века / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова. М., 1984.

[16] «Казанская история» цитируется по изданию: ПЛДР: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985.

[17] «Степенная книга» цитируется по изданию: ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21, ч. 1 / Текст памятника подгот.п. Г. Васенко.

[18] «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков» цитируется по изданию: ПЛДР: Вторая половина XVI века / Текст памятника подгот. В. И. Охотникова. М., 1986.

[19] «Новая повесть о преславном Российском царстве» цитируется по изданию: ПЛДР. Конец XVI — начало XVII веков / Текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова. М., 1987.

[20] «Сказание» Авраамия Палицына цитируется по изданию: ПЛДР: Конец XVI — начало XVII веков / Текст памятника подгот.е. И. Ванеева.

[21] «Временник» Ивана Тимофеева цитируется по изданию: Временник Ивана Тимофеева / Текст памятника подгот. О. А. Державина. М., 1951.

[22] «Хронограф 1617 г.» цитируется по изданию: ПЛДР: Конец XVI — начало XVII веков / Текст памятника подгот. О. В. Творогов.

[23] «Повесть о Горе-Злочастии» цитируется по фототипическому воспроизведению рукописи в издании: Симони П. К. Повесть о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи XVIII-го века. СПб., 1907.

[24] «Служба кабаку» цитируется по изданию: ПЛДР: XVII век. Кн. 2 / Текст памятника подгот. Н. В. Понырко. М., 1989.

[25] «Житие» протопопа Аввакума цитируется по изданию: ПЛДР: XVII век. Кн. 2 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова.

3. «Картинки» окружающей среды и причины их формирования в древнерусских произведениях XII—XIII вв.

Не всем филологам по душе непосредственное изучение именно художественного содержания древнерусских произведений, потому что тут много возможностей для субъективных заблуждений. Но, думается, научными методами на конкретном материале все-таки можно воссоздать объективную историю развития древнерусской литературы в направлении к литературе художественной. В этом убеждают труды наших крупнейших медиевистов — Ф. И. Буслаева, А. Н. Веселовского, А. С. Орлова, В. В. Виноградова, В. П. Адриановой-Перетц, И. П. Еремина, Д. С. Лихачева.

Мы не станем заниматься обширной историографией и методологией этой проблемы, но под влиянием работ названных ученых обратимся к теме неисследованной, а сейчас даже модной, — к «картинкам» окружающей среды с участием литературных персонажей. Под «картинкой» мы подразумеваем изображение и соответственно авторское представление, не соответствующее реальности.

Разумеется, о термине «окружающая среда» и понятия не имели в древности. Мы же под этим предлогом выделяем и пытаемся объяснить «картинки» с явлениями природы и предметами быта в памятниках. Естественно, мы выбираем памятники, сравнительно обильные такого рода «картинками», иногда четко нарисованными летописцем, но чаще неясными. Понятия «картинка», «изображение», «представление» и «образ» мы употребляем как в известной мере синонимичные.

1. «Повесть временных лет»

Мы будем говорить о «Повести временных лет» как о результате литературной деятельности одного обобщенного летописца. Этот подход допустим, потому что летописцы XI — начала XII вв. не слишком отличались друг от друга манерой повествования.

Исследователи старейших русских летописей — от А.А. Шахматова до Д. С. Лихачева и вплоть до А. А. Шайкина и А. А. Пауткина — уже отметили самые яркие места в «Повести временных лет». Наша задача — подробнее охарактеризовать окружение летописных персонажей: природное окружение, затем — городское (строения) и домашнее (быт). Телесное окружение летописных персонажей — одежды, оружие, драгоценности, пищу — мы не рассматриваем: это уже характеристика человека, а не окружающей среды.

Начнем с упоминания **гор** летописцем. В некоторых рассказах о путешествиях персонажей летописец, введя предметные детали, неотчетливо обозначил вместе с горами нечто вроде ландшафта местности. Например, в начале летописи в рассказе о путешествии апостола Андрея летописец сообщил, что Андрей «поиде по Днепру горѐ… и ста подъ горами на березе» (8)[1]. Предметные детали во фразе — река, берег, горы — выразили неотчетливое представление о ландшафте, на который взирали персонажи (Андрей призвал своих учеников: «Видите ли горы сия?»). Рельефность ландшафта летописец обозначил передвижением Андрея вверх и вниз (апостол с берега реки «въшедъ на горы сия» и «сълезе съ горы сея»). Представление об обширности ландшафта было косвенно выражено упоминанием большого города, который может раскинуться со многими церквями на этих горах («на сихъ горах … имать градъ великъ быти и церкви многи Богъ воздвигнути имать»), а также в гиперболичном назывании холмистых возвышенностей «горами» (в дальнейшем повествовании эти же места летописец спокойно называл холмами).

Почему же существовало у летописца представление об обширности тех гор? Мы исходим из предположения о том, что ощущения у летописца появлялись раньше его представлений и влияли на их формирование. Неотчетливая «картинка» просторности киевских гор, как нам думается, была порождена эмоцией летописца, — скрытым, несформулированным ощущением тогдашней пустынности и безлюдности местности. Ведь летописец не упомянул о присутствии людей.

Та же связь повторилась в летописи под 1051 г. в рассказе о хождении Антония Великого по киевским же горам: «бе бо ту лесъ ве-

ликъ», а Антоний «поча ходити по дебремъ и горамъ» (156). В этом рассказе тоже присутствовала слабая «картинка» ландшафта, рельефного и просторного (Днепр — великий лес — дебри — горы), получившаяся у летописца благодаря тому же несформулированному ощущению пустынности и безлюдности гор (со значащами деталями, — «дебрями» и великим лесом вокруг уже построенного Киева).

Сходная причинно-следственная связь между сиротливым ощущением летописца и уже его сознательным изображением широко протянувшегося ландшафта наблюдается в рассказе под 1096 г., где летописец описал не киевские, а какие-то далекие северные горы: «суть горы заидуче в луку моря. Им же высота, ако до небесе… Путь до горъ техъ непроходим пропастьми, снегом и лесом. Тем же не доходим ихъ всегда» (235). Летописец представил фантастически огромное объемно-пространственное целое перед наблюдателем: горы, «ако до небесе», занимают лукоморье и окружают целый народ («сступишася о них горы великия» — 236). Путь к тем горам далек, дик и гибелен. Представление о таком обширном суровом ландшафте было порождено у летописца уже не только ощущением безлюдности местности, но еще и чувством опасности, исходящим от этих гор. Если очевидцы удивлялись, — «и дивьно мы находимхом чюдо, его же не есмы слышали», — то летописец сгустил зловещесть гор, сославшись на Мефодия Патарского: этими горами окружены «человекы нечистыя», «си суть людье, заклепении Александром, македоньскым царемь», а когда они вырвутся из гор, то «осверняять землю» (235—236).

Показательно, что там, где у летописца речь шла о горах, уже заселенных или застроенных, никаких ландшафтных «картинок» не возникало.

Ощущение безлюдности и пустынности побуждало летописца к «картинкам» местности и без гор. Так, например, под 1093 г. летописец изобразил мертвый простор целой страны, — нет цивилизации: «городи вси опустеша, села опустеша; преидемъ поля, идеже пасоши беша стада конь, овця и волове, — все тоще ноне; видимъ нивы поростьше зверемъ жилища быша» (224). Ясно, что чувство обезлюженности и запустения породило это гнетущее представление.

Перейдем к другим объектам окружающей среды, — уже не к природе, а к **быту**. Прежде всего, в какие «картинки» вставлял летописец избы («истобки»)? Для летописца как бы не существовало пустых изб, он их всегда упоминал вкупе с людьми и с бытовыми предметами. Например, под 1074 г. летописец рассказал о том, что киево-печерский монах Исакий «въ едину бо нощь вжегъ пещь в ыстобце у

пещеры. Яко разгоресѧ пещь, — бе утла, — и нача палати пламень утлизнами; оному же нечимъ заложити, вступль ногама босыма, ста на пламени, донде же изгоре пещь, и излезе» (196). Автор нарисовал «картинку» с тройным изобразительным эффектом. Первый эффект: в темноте избы пылает печь, и языки пламени вырываются из ее щелей. Второй эффект: в избе на пылающей печи стоит босыми ногами человек. Третий эффект: «картинка» статична (персонаж надолго застыл в одной позе, — пока не погасла печь). Причиной яркости этого «фигурного» представления послужило у летописца его острое ощущение бытовой неординарности, даже мучительности ситуации, о чем он и сказал: «дивно чюдно бысть» (194).

Та же тенденция к связи неприятной или трагической ситуации со статичной бытовой «картинкой» повторялась в летописи неоднократно. Например, под 1095 г. говорилось об убийстве вероломного половецкого хана Итларя, сидевшего в избе, новгородцем Ольбегом: «възлезше на истобку, прокопаша ѝ верхъ. И тако Ольбегъ Ратиборичь, приима лукъ свои и наложивъ стрелу, удари Итларя в сердце» (228). «Картинка» (на этот раз неявная): изба — крыша — Ратибор на крыше — отверстие в крыше — Итларь в избе. Фигуры как бы застыли в сцене убийства: Ратибор со стрелой на натянутом луке, а Итларь со стрелой в сердце. Летописец не мог обойтись без «картинки» благодаря удовлетворению от возмездия: «И тако зле испроверже животъ свои Итларь».

В некоторых случаях трагическая «картинка» включала в себя не всю избу, а лишь ее часть. Вот летописец представил сценку у окна: «атъ призвавше лестью ко оконцю, пронзуть ѝ мечемъ» (171, под 1068 г.), — застывшая на мгновение фигурная «картинка» опять же убийства: жертва неожиданно пронзена мечом сквозь оконце. Или: «яко полезе въ двери, и подъяста ѝ два варяга мечьми подъ пазусе» (78, под 980 г.), — тоже застывшая «картинка» убийства жертвы в проеме двери. В обоих аях летописец указывал на возмутительную подлость подобных покушений на русских князей.

Помимо изб летописец привлекал к изображению и иные строения, — в частности, бани с их пользователями. Так, были описаны словенские (новгородские) бани: «бани древены, и пережгуть è рамяно, и совлокуть ся, и будуть нази… и возьмуть на ся прутье младое, и бьють ся сами…» (8). «Картинка» зримая (свидетель сообщил о том, «елико виде») и, несмотря на энергичность действий, застывшая (моющиеся совершают однообразное действие — «хвощются»). И снова: сравнительно детальное «фигурное» представление о моющихся обязано лукавству летописца, описавшего бытовой обычай

словен в виде мучения до полусмерти («вылезуть ле живи суще»). И вообще, — избы, хоромы, бани и прочие помещения никогда в летописи не мыслились местом безопасным или покойным.

В отдельных случаях летописец рисовал «картинку» с военным сооружением. Например, под 1097 г. летописец кратко описал гибель князя Мстислава Святополковича (сына великого князя киевского) на стене города Владимира-Волынского во время сражения: «идяху стрелы, акы дождь. Мстиславу же хотящю стрелити, внезапу ударенъ бысть под пазуху стрелою на заборолехъ сквозе дску скважнею» (272). Летописец наметил статичную «картинку»: дощатое заборало со щелью, пропускающей стрелу; за доской князь застыл, приготовившись стрелять. Неожиданная («внезапу»), роковая незащищенность укрытия, — это трагическое ощущение и содействовало появлению неясного «фигурного» представления у летописца.

Церкви, кельи и молельни летописец также вписывал в статичные «картинки», если речь шла о чем-то, по его ощущениям, трудном или вредоносном.

«Картинки» с остальными, причем разными, предметами быта принципиально ничем не отличались от «картинок» с помещениями. Приведем лишь некоторые примеры. Так, телегу летописец вписал в многофигурную композицию: «обри … насилье творяху женамъ дулепьскимъ. Аще поехати будяше обърину, не дадяше въпрячи ни коня, ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ в телегу и повести обърина. И тако мучаху дулебы» (12). «Картинка», возможно, присутствовавшая в древней легенде, сохранилась у летописца и оказалась застылой: женщины, впряженные в телегу, приготовились тащить тяжелого обрина («быша бо объре теломъ велици и умомь горди»). Осуждение мучителей («Богъ потреби я, и помроша вси») и сочувствие к жертвам побудили летописца к «фигурному» изображению.

Те же изобразительные последствия содержит рассказ под 1066 г.: грек на пиру коварно протянул чашу с ядом тмутороканскому князю Ростиславу Владимировичу: «дасть князю пити, дотиснувъся палцемь в чашю, бе бо имея под ногтемъ растворенье смертное» (166). Возникла «картинка» с чашей: чаша в пальцах персонажа — ноготь одного из пальцев — под ногтем зернышко яда. Осуждение изощренного вероломства («с лестью») заставило летописца представить жест злодея.

Эмоциональное отношение летописца к злодеям и врагам иногда вольно или невольно приближало его к созданию не просто «картинки» с бытовым предметом, но художественного образа. Например,

под 1097 г. летописец изобразил сокрушительный разгром венгерского войска: «множицею убивая, сбиша è в мячь … сбиша угры, акы в мячь, яко се соколъ сбиваеть галице» (271). Мяч — чрезвычайно редкостный предмет быта для летописи, возможно, и не русский даже[2], отчего летописец пояснил смысл первого сравнения вторым, уже традиционно русским. В результате, венгерское войско представилось летописцу странно прихлопнутым до размеров кучки или мяча, хотя речь шла о стотысячном войске. Тут уж действовало чувство превосходства над врагом.

Но в общем, преимущественно трагические чувства приводили летописца к более или менее выразительным «картинкам» с участием бытовых предметов.

Перейдем к еще одному, но уже «небесному» объекту окружающей среды — к изображению **ночи** летописцем, ночи, конечно, с персонажами. Та же причинно-следственная связь наблюдается между эмоциональными ощущениями летописца и появляющейся изобразительностью его повествования, но теперь в виде контрастов тьмы и света. Прежде всего, ощущение страшности ночи содействовало изобразительности и выразительности изложения в летописи. Например, в рассказе под 1024 г. летописец описал ночное сражение двух князей, родных братьев, друг против друга — Ярослава Владимировича с Мстиславом Владимировичем: «бывши нощи, бысть тма, молонья, и громъ, и дождь … яко посветяше молонья, блещашеться оружье» (148). Ночь представлялась летописцу настолько непроглядно темной, что воины не видели, с кем они сражаются, при резчайшем контрасте тьмы («бысть тма») и света (вспыхивающая молния, поблескивание оружия). Представление это не являлось традиционным, так как оружие в памятниках сверкало и сияло только утром или днем. «Картинка» мерцающей ночи была порождена чувством ужасности той ночной схватки у летописца («и бе гроза велика и сеча силна и *страшна*»).

О том, что летописец намеренно изображал ночную битву контрастом света во тьме, подтверждает статья под 941 г. о морском сражении руси с греками. В летописи рассказывается о ночном сражении: «русь … *на ночь* влезоша в лодьи», а греческий военачальник «усрете я въ олядехъ со огнемъ и пущати нача трубами огнь на лодье руския» (44), — огонь ночью. Рассказ об этом событии был заимствован летописцем из «Жития Василия Нового»[3], но в нем битва происходила вечером («вечеру достигшу»). Летописец же добавил контраст и поместил огонь в ночь, потому что «бысть видети *страшно* чюдо».

Однако не всегда летописец вводил световые контрасты в сообщения о ночных сражениях. Так, рассказик о ночной битве с половцами под 1068 г. на реке Альте был совершенно бездетален, и лишь бегло упомянута ночь: «и бывши *нощи*, поидоша противу собе. Грех же ради нашихъ пусти Богъ на ны поганыя, и побегоша русьскыи князи, и победиша половьци» (167). Почему столь краток был рассказ об этом важном событии, — не ясно. Может быть потому, что все внимание летописца переключилось на обширное поучение по поводу трагического поражения на Альте.

Далее. Ощущение хоть и не страшности, но тревожности ночи тоже побуждало летописца к изобразительности повествования. Например, под 1102 г. летописец уже как свидетель изобразил ночное природное явление, явно непривычное (северное сияние?): «бысть знаменье на небеси месяца генваря въ 29 день по 3 дни, — акы пожарная заря от въстока, и уга, и запада, и севера; и бысть тако светъ всю нощь, акы от луны полны, светящися» (276), — такое представление было даже художественным: пожарное зарево кольцом или как бы куполом смыкается со всех сторон. К зловещей «картинке» наступления огня на зрителей побудила летописца сильная тревога («сия видяще знаменья, благовернии человеци со въздыханьем моляхуся к Богу и со слезами»).

К контрастно-световым «картинкам» также приводили летописца озадачивающие или настораживающие явления в ночи. Так, под 1110 г. летописец как очевидец старательно и выразительно описал явление светового столпа ночью: «бысть знаменье в Печерьстем монастыре в 11 день февраля месяца. Явися столпъ от земля до небеси, а молнья осветиша всю землю и в небеси погреме в час 1 нощи, и весь миръ виде. Сеи же столпъ первее ста на трапезници каменеи… съступи на церковь и ста надъ гробомъ Феодосьевым и потом ступи на верхъ … и потом невидим бысть» (284). Летописец представил многократную игру света на фоне темной ночи; притом летописец преувеличил масштабность светового столпа, сделав его явлением мировым («от земля до небеси … осветиша *всю землю* … и *весь миръ* виде»). Причина преувеличивающего представления — ощущение потрясения летописцем: «се же беаше не огненыи столпъ, но видъ ангельскъ: ангелъ бо сице является ово столпом огненым, ово же пламенем». Но влияние монастырской легенды на представление летописца тут тоже надо учитывать (ср. сходные «картинки» в «Житии Феодосия Печерского» — 117—118)[4].

Чувство потрясения у летописца от ночных событий постоянно порождало представления о световых контрастах. Так, под 1091 г.

летописец рассказал о раскопках мощей Феодосия Печерского; была изображена летописцем целая ночная иллюминация, своего рода извещение о находке мощей, далеко видимое персонажами: в августе «до полуночья… 2 брата в манастыри… видеста 3 столпы, ако дугы зарны, и, стоявше, придоша надъ верхъ церкве, идеже положенъ бысть Феодосии»; другие два зрителя вдалеке от монастыря ночью «виде чрес поле зарю велику надъ печерою», а когда приблизились к монастырю, «видеста свеще многы надъ печерою», — и тут вдруг последовало эффектное исчезновение света: «придоста к печере и не видеста ничто же» (201—211). Летописец лично участвовал в тайной ночной эксгумации тела Феодосия Печерского и помнил, какое чувство он испытал («обдержашеть мя ужасть»). По-видимому, от «ужасти» летописцу привидилась впечатляющая иллюминация той ночи.

Если же летописец с опасением рассказывал о ночной деятельности бесов, то такая ночь представлялась и совсем фантасмагорической. Например, под 1074 г. летописец описал, как киево-печерскому монаху Исакию глубокой ночью «внезапу свет восья, яко от солнца, восья в печере, яко *зракъ вынимая* человеку» (192). Этот ослепляющий свет ассоциировался у летописца не только с сиянием солнца, но и с казнью ослепления (ср. фразу о реальной казни под 1097 г.: «*взялъ* еси *зракъ* очью моею» — 270). «Картинку» летописец усилил световым контрастом до предела: ведь Исакий «затворися в печере… въ кельици мале, яко четырь лакотъ», где мог только сидеть, а не лежать; сидел в тишине и в абсолютной темноте в полночь, к тому же «и свещю угасившю»; тут-то в полной тьме ему внезапно воссиял болезненно ослепительный свет, и каким-то образом по пещерке «поидоста 2 уноши к нему красна, и блистаста лице ею, аки солнце». Представление о пещерке, залитой ярчайшим светом, появилось у летописца благодаря ощущению ошеломительности той ночи (ведь даже богомольный Исакий от растерянности «не разуме бесовьскаго деиства, ни памяти прекреститися»).

В общем, от ночи летописец не ожидал ничего кроме беспокойств и переживаний.

Следующий объект окружающей среды, изображаемый в летописи, — это **небо**, дневное небо (а не ночное небо и не божественные небеса). Оно, в представлении летописца, содержало вещественные предметы, до поры невидимые, которые вдруг падали сверху на землю. Например, под 1091 г. летописец сообщил: «спаде превеликъ змии отъ небесе, и ужасошася вси людье; в се же время земля стукну, яко мнози слышаша» (214). Видимо, упал метеорит. Но летописец не уточнил, что то был змей огненный или дымный. Существо это пред-

ставилось вполне телесным, весомым, скрытым на небе и внезапно, вызывая ужас, с грохотом обрушившимся на землю. Страшно, — оттого и изобразительно.

Ощущение пугающей удивительности неба не раз вело летописца к представлению о странных явлениях. Так, под 1114 г. (в третьей редакции летописи)[5] летописец рассказал о выпадении из туч не только массы бусинок, но даже множества маленьких белок и оленей — живых и разбегающихся по земле («егда будеть туча велика, находять … глазкы стекляныи, и малыи [и] великыи, провертаны… Спаде туча, и в тои туче спаде веверица млада, акы топерво рожена… и расходится по земли. И пакы бываеть другая туча, и спадають оленци мали в неи … и расходятся по земли» — 277). Летописец слышал этот рассказ от очевидцев-ладожан, но пересказал с изобразительными деталями, потому что поражался материальной плодовитости туч («сему же ми ся дивлящю»).

Мотив падения предметов с неба был очень древним. Он встречался уже в Ветхом и Новом заветах: с неба на землю падали, например, камни и хлеб. Летописец выписал из «Хронографа» подходящие сведения о падении с неба съедобной пшеницы, серебряных вещей, трех громадных камней и железных клещей (третья редакция, 278, под 1114 г.). Так что в данном случае летописец продолжил литературную традицию.

Кроме того, летописец представил что-то вроде материальных предметов, не падавших, но как бы висевших в небе или в воздухе над персонажами: вырисовывался тот же змей («знаменье змиево явися на небеси, яко видети всеи земли» — 149, под 1028 г.); нависали кресты («мнози человеци благовернии видеша кресть над … вои, възвышься велми» — 270, под 1097 г.); над земными воинами парили небесные войска («ездяху верху вась вь оружьи светле и страшни» — третья редакция, 268, под 1111 г.).

И этот мотив нависания был тоже древним и традиционным, на что указывают, в частности, многочисленные выписки летописца из «Хроники» Георгия Амартола (например, о конном войске, рыщущем «на вздусе» — 164, под 1065 г.). Небо у летописца, вслед за его предшественниками, представало средой отнюдь не пустой, но даже богатой разнообразными телесными предметами и существами, словно некое загадочное хранилище, иногда что-то выбрасывающее на землю. Ощущение таинственности неба выражалось у летописца еще и в описаниях небесных знамений с солнцем, представлявших интригующие световые фигуры.

Даже сравнительно небольшой обзор некоторых летописных «картинок» окружающей среды позволяет утверждать, что изобразительность, пусть в зачаточном, неразвернутом, неотчетливом виде (обычно в форме застывших «картинок»), была свойственна древнерусской литературе с самого начала ее существования. «Повесть временных лет», действительно, можно считать предтечей художественной литературы. Порождали картинность летописного изложения авторские ощущения загадочности событий, но чаще — чувства опасности и страшности окружающего мира. Экспрессия — мать образа. Видимо, в начале XII в. историческая действительность вокруг летописца была вовсе не умиротворяющей, а, напротив, чрезвычайно драматичной. Недаром в написанном почти одновременно с летописью «Поучении» Владимир Мономах так много места посвятил темам беспокойств и опасностей. «Золотого века» не было.

2. Другие произведения XII—XIII вв.

В течение XII в. объекты окружающей среды редко когда упоминались авторами, включая поучения плодовитого проповедника Кирилла Туровского. Даже в знаменитом описании весны в «Слове по пасце» Кирилл, в сущности, нарисовал не картину окружающей среды вокруг человека, а мыслил человека как рядовой элемент картины природы наряду с другими ее элементами. В «Слове о раслабленемь» Кирилл хоть и представил человека пользователем дарами природы, но логически, без какой-либо «картинки». Вот и всё.

На материале немногих произведений XII в., все-таки содержавших «картинки» окружающей среды, не выстраивается связной истории развития изобразительности и писательских настроений. Можно лишь предположить, что начали ухудшаться настроения писателей, иногда все же затрагивавших мотивы бытовой окружающей среды. Так, например, если благостный игумен Даниил в своем «Хождении», пожалуй, поровну выражал ощущения («чюдно» или «страшно») об удобстве или неудобстве виденных им мест для обитания, то затем в сумрачном «Молении Даниила Заточника» объекты окружающей среды совсем захирели: углы у дома завалились, трава растет чахлая, идет пронзительный дождь, река с каменными берегами — нельзя напиться, даже птица поет уродливо и надоедливо.

Любопытный случай: в **«Киевскую летопись»** под 1161 г. было вставлено необычно подробное описание лунного затмения, очевидцем которого, возможно, был сам летописец (хотя этого он прямо не утверждает). Описание луны содержит яркую художественную деталь: «посреде ея, яко два ратьная секущеся мечема; и

одиному ею, яко кровь, идяше изъ главы, а другому бело, акы млеко, течаше» (516)[6]. Двух сражающихся воинов на луне различил летописец под влиянием его постоянных интересов — описывать бесконечные сражения и стычки. Ср., как в той же «воинской» манере летописец рассказал о буре под 1143 г.: «бысть буря велика … и розноси хоромы, и товаръ, и клети, и жито из гуменъ, — и спроста рещи, *яко рать взяла*» (314).

Но вот откуда у летописца взялся цвет в характеристике двух воображаемых «лунных» воинов? Скорее всего, как продолжение цветового описания затмения луны: «бысть образъ ея, яко скудно черно; и пакы бысть, яко кровава; и потом бысть, яко две лици, имущи одино зелено, а другое желто». Такая цветовая картина совершенно нетрадиционна. И главное — предполагает некую борьбу луны с болезнью: поэтому меняются ее лица, — почерневшие, окровавленные, позеленевшие, пожелтевшие. Одновременно на луне разворачивается сценка поединка между уже ранеными в голову до крови или до мозга воинами. Все это, возможно, свидетельствует о том, что в данном случае цветовые явления на небе представлялись летописцу как признаки больного или страдающего неба, ведь «идяше бо луна через все небо». Такое представление появилось, конечно, благодаря эмоции летописца: «бысть знамение в луне *страшно и дивно*».

К сожалению, в «Киевской летописи» больше нет цветовых картин небесных явлений, но есть огненные: «солнце бо погибе, а небо *погоре* облакы *огнезарными*» (655, под 1167 г.); «летящю по небеси до земля, яко кругу *огнену*, и остася по следу его знамения въ образе змья великаго» (314, под 1144 г.), — эпизодические мотивы пожара и агрессии, по-видимому, тоже выражали у летописца смутное представление о болезненности неба как части неблагополучного мира.

Но прошло два-три десятилетия, и появилось иное, оптимистическое по авторскому настроению **«Слово о полку Игореве»**, судя по авторскому представлению об окружающей среде. Нужно учесть, что природа в «Слове» служила не столько средой, окружающей человека, сколько символом тех или иных обстоятельств. Однако как попутная тема собственно изображение окружающей среды все-таки присутствовало в «Слове».

Окружающая среда, то есть природа в «Слове» была изображена автором в двух основных видах. Первый вид: вводя персонажей в повествование, автор «Слова» представлял героя перед уходящей вдаль объемной перспективой и тут же показывал его двигающимся в этом пространственном объеме. Например, Боян «растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы …

пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедеи … скача, славию по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы … рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы» (43—44). Здесь символическая характеристика пения Бояна имела попутный изобразительный смысл. Глаголы «растекаться», «пускать», «скакать», «летать», «рыскать» обозначали передвижение в земном и воздушном пространстве то ли самого Бояна, то ли мысли Бояна или распространение его пения. Так вырисовывалась некая объемно-пространственная, почти бесконечная перспектива, где никто никому не мешал «растекаться». Это свойство окружающей среды в «Слове» уже заметил Д. С. Лихачев и назвал его «панорамным зрением» и «быстротой передвижения в больших географических пространствах»[8].

Но чем объяснить подобную «картинку» у автора «Слова»? Общая ссылка на распространенный тогда (по терминологии Д. С. Лихачева) «стиль исторического монументализма» не дает ответа на вопрос о том, почему же в данном конкретном случае автор «Слова» представил Бояна в широкой пространственной перспективе. Какой-либо литературной традиции здесь не прослеживается. На «картинку» окружающей среды с Боянома, скорее всего, повлияло ощущение автора «Слова», для которого Боян выглядел свободным в своих действиях человеком: он ведь был «вещим», и в своих «припевках» выносил нелицеприятные приговоры князьям, и, конечно, двигался свободно.

Возможно, и вообще певцов автор ощущал раскованными. В «Слове» есть еще один в некотором роде певец, — это Ярославна, которая «кычеть» и перед которой расстилается тоже обширная объемная перспектива. С городской стены Ярославна собирается полететь по Дунаю, она видит облака над синим морем, и каменные горы, и ковыль в степи, и ослепительное солнце над далеким иссушенным полем и пр. «Картинка» просторной окружающей среды, вероятно, тоже была связана у автора с ощущением свободности Ярославны, которая безбоязненно обращается к мощным силам природы, — ветру, Днепру, солнцу.

Это ощущение свободности певцов, возможно, зависело от социального самоощущения самого автора «Слова». Вот кто чувствовал себя свободным и всепроникающим: перед ним вся Русская земля и зарубежная степь; автор «Слова» свободно и без экивоков, напрямую обращался к влиятельным князьям; намеревался свободно оценивать исторических деятелей («отъ стараго Владимера до нынешняго Игоря» — 44); легко допускал, что можно следовать Бояну («начяти ста-

рыми словесы»), а можно и не следовать («не по замышлению Бояню» — 43), можно цитировать Бояна, а можно менять стиль. Предполагаем, что ощущение своей свободы автор «Слова» перенес на героев и на окружающую их объемную среду.

Но, пожалуй, преобладал в «Слове» второй вид изображения окружающей природы, — не объемной, а, так сказать, линейной, стремительно стелющейся по земле вокруг или вдаль. Такой средой автор обычно сопровождал князей и их воинов. Например, великий князь киевский Святослав Всеволодович стремительно, как вихрь, «наступи на землю половецкую, притопта хлъми и яругы, взмути рекы и озеры, иссуши потоки и болота. А поганаго Кобяка изъ луку моря, яко вихръ, выторже» (50), — почти все движется понизу. При более медленном, но опять-таки беспрепятственном передвижении князя с войском автор «Слова» включал и животных в окружающую среду: когда «Игорь къ Дону вои ведетъ», то присутствует множество «птиць по дубию, влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, орли клектомъ на кости звери зовутъ, лисици брешутъ на чръленыя щиты» (46). Взбудораженных животных или части ландшафта автор «Слова» выстраивал преимущественно в горизонтальный ряд по пути свободного следования героев.

Нужно сказать, что у автора «Слова» не проводилось резкого различия между «картинками» объемной или горизонтальной окружающей среды. Иногда природа сопровождала персонажей только сверху, но затем переходила только на низ. Так, войско Игоря как бы нагоняет природа сверху: «кровавыя зори светъ поведаютъ, чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещутъ синии млънии. Быти грому великому, итти дождю стрелами» (47). Но тут же ландшафт подстилается под Игоревы полки: «Земля тутнетъ, рекы мутно текутъ, пороси поля прикрываютъ».

Главное заключалось в другом: регулярное повторение как линейных, так и объемных или смешанных, линейно-объемных «картинок»-представлений о «дальнозримости» окружающей среды в повести объясняется предполагаемым ощущением пространственно-социальной свободы у автора «Слова». Правда о своем эмоциональном мироощущении свободы действий автор нигде не сказал прямо, но все же, как нам кажется, не раз выразил его косвенно. Автор был вездесущ: он вникал в пространственное положение персонажей, как бы наблюдая за их удаляющимся передвижением (повторяя восклицания: «о, Руская земля! Уже за шеломянемъ еси!» — 46, 47; «хороброе гнездо… далече залетело», «о, далече заиде соколъ..!», «ти прелетети издалеча» — 47, 49, 51); автор как бы лично слышал, что проис-

ходит («что ми шумить, что ми звенить далече..?» — 48); автор свободно проникал в душу князей (Игорь «истягну умь крепостию своею, и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа… Спала князю умь похоти» и пр. — 44; «жаль бо ему мила брата» — 48—49; «Игорь мыслию поля меритъ» — 55; Яр-Тур Всеволод в битве «забывъ чти, и живота … и своя милыя хоти» — 48; у Всеслава «веща душа въ дръзе теле» — 54).

Авторское ощущение свободы, возможно, сказалось и в одном из последних описаний окружающей среды в «Слове»: «О, Донче!.. лелеявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ, одевавшу его теплыми мъглами под сению зелену древу. Стрежаше ѐ гоголемъ на воде, чаицами на струяхъ, чрьнядьми на ветрехъ» (55). В этом описании (если ранее в тексте не произошло перестановки фраз), в сущности, следуют два изображения. Первое — линейное, земное: волны — серебряные берега — зеленая трава — зеленое древо — тень под ним. Обозначен свободный путь Игоря. Второе изображение — объемное — отражает торжественную встречу Игоря природой. В представлении об умиротворенной окружающей среде, по-видимому, выразилось у автора «Слова» ощущение облегчения и своей душевной свободы: «страны ради, гради весели» (56).

Если верна наша предположительная трактовка умонастроения автора «Слова о полку Игореве», то это может означать, что представления об окружающей среде в памятнике и ощущения автора соответствовали более позднему времени после поражения Игоря, а именно самому концу XII в., когда уместно стало говорить о череде побед русских над половцами и о беспрепятственности передвижения русских по чужой земле. Так, в «Киевской летописи» под 1193 г. рассказывалось о том, как будущий великий князь киевский Ростислав Рюрикович «победивъ половеци славою великою» (678). В так называемой «Владимиро-Суздальской летописи» под 1199 г. упоминался победоносный поход великого князя владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо на половцев, причем в рассказе появился мотив легкого передвижения по земле половцев: «князь же великыи ходивъ по зимовищемъ ихъ и прочее възле Донъ, онемъ безбожным пробегшим прочь» (414)[9]. А в «Галицко-Волынской летописи» под 1201 г. мотив быстрого передвижения по земле половцев уже стал художественным: галицкий князь Роман Мстиславович «устремих бо ся бяше на поганыя, яко и левъ … и прехожаше землю ихъ, яко и орелъ» (236)[10].

Отзвук этого ощущения пространственной свободы, возможно, находим в речи игумена Моисея в «Киевской летописи» под 1199 г.

(люди «мняться, яко аера достигше … яко златомъ власомъ поверзена есть церкви от небесе» — 714, 715); и еще: в самом начале другого произведения — в «Слове о погибели Русской земли» — упомянут просторный ландшафт вокруг городов с князьями, боярами и вельможами, — озера, реки, источники, горы, холмы, дубравы, поля и пр. Но это благополучие, как можно понять, существовало, пока не разразилась некая «болезнь» христианам.

Таким образом, художественным настроением автора «Слова», пожалуй, подтверждаются мнения тех исследователей, которые на основании исторических данных относят время создания «Слова о полку Игореве» к самому концу XII — началу XIII в. (Н. С. Демкова, Б. И. Яценко, А. Н. Ужанков)[11]. «Слово о полку Игореве», несмотря на его символичность, стало в древности самой яркой предтечей свободолюбивой художественной литературы, за что мы его так ценим.

Перейдем к беглой характеристике XIII в. В литературе XIII в. изображение окружающей среды очень обеднело и в некоторых произведениях прямолинейно (но патриотично) разделилось на тесную среду вокруг врагов и просторную среду вокруг русских людей. Так, в **«Галицко-Волынской летописи»** этот принцип разделения был даже сформулирован: «крестьяномъ пространьство есть крепость, поганым же есть теснота» (318, под 1251 г.). И действительно, польский город Калиш, который пыталась взять русское войско, был изображен летописцем как утесненный природой: «бе бо городъ обишла вода, и сильная лозина, и вербье, и не сведущимся самемь, идеже кто биаше» (270, под 1229 г.). Представление о тесноте касалось и других врагов: «собрашася вси ятвязе … мнози зело, яко и лесомъ ихъ наполълнитися» (316, под 1251 г.). Представление о тесноте распространялось даже на мертвых врагов: например, литовцы «тако погрязаху… и нагряже озеро труповъ, и щитовъ, и шеломовъ» (342, под 1258 г.). Даже враждебное для русского войска знамение в небе представлялось тесным: «и бывшу знамению сице надъ полкомъ сице: пришедшимъ орломъ и многимъ ворономъ, яко оболоку велику» (308, под 1249 г.).

Напротив, местность, обозреваемая русскими персонажами в отсутствие врагов, отличалась просторностью: «виде место красно и лесно на горе, обьходящу округъ его полю» (344, под 1259 г.); «осмотреша, оже нетуть рати, но пáря идяшеть со истоковъ, текущихъ из горъ, зане морозе бяхуть велице» (368, под 1274 г.).

Все отмеченные мотивы в «Галицко-Волынской летописи», как правило, были мимолетными, пространственные представления неотчетливыми, излагались они летописцем, возможно, с ориентацией на традиции XII в., но почти что без эмоций.

В противоположность тому север стал мрачнее юга, и в так называемой **«Владимиро-Суздальской летописи»** единичные и краткие зримые «картинки» окружающей среды относились только к катастрофам или мистическим явлениям, в которых уже именно русские люди представлялись утесненными и растерянными (например, засуха с пожарами: «мнози борове и болота загорахуся, и дымове силни бяху, яко недалече бе видети человекомъ» и пр. — 447, под 1223 г.; видение: «и виде насадъ единъ гребущь … гребци же седяху, аки мглою одени» — 479, под 1283 г., это «Житие Александра Невского», включенное в летопись; затмение: «всем зрящим бывшю солнцю месяцемъ, явишася столпове черлени, зелени, синии оба полы солнца, таче сниде огнь с небеси, аки облак велии … людямъ всем отчаявшимъся своего житья, мняще уже кончину сущю» и т.д. — 455, под 1230 г. Однако сами авторы не проявляли впечатлительности и оставались спокойными.

Все эти мелкие «картинки» можно причислять лишь к рассеянным в памятниках XIII в. слабым «искоркам» изобразительности, а не к заметным предтечам художественной литературы.

В заключение, можно вспомнить о полупереводном **«Сказании об Индийском царстве»** (второй редакции), в котором, казалось бы, должно быть много «картинок» окружающей среды. На самом же деле здесь таких «картинок» нет, а есть лишь множество локальных предметных мотивов или фантастических сюжетов, изобразительность которых достигалась за счет их нелепости или гиперболичности. Например, человеку невозможно дойти до границы Индийского царства, так как там смыкается небо с землею; невозможно увидеть вершины гор, — настолько они высоки; в этом царстве волнуется непреодолимое песочное море и течет подземная река с драгоценными каменьями; в горах по многим местам пылает огонь, в котором живут черви, а женщины этим огнем очищают загрязнившиеся одежды; и т.д. и т.п. Подобное далекое царство, несмотря на его хаотические богатства и чудеса, ощущалось неуютным и даже подавляющим человека.

В итоге нашего (конечно же, очень неполного) обзора соответствующих «картинок» и авторских умонастроений надо признать, что в течение XII—XIII вв. изобразительность «экологических» тем в древнерусской литературе неуклонно беднела. Заботы авторов становились другими, суровыми, — начальный путь к художественной литературе не отличался ни предначертанностью, ни силой, ни простотой, ни быстротой, он был стихийным, но не исчезающим.

Примечания

Все цитаты из древнерусских текстов приводятся с упрощением орфографии. Страницы или столбцы изданий памятников указываются в скобках в самой работе.

[1] «Повесть временных лет» второй редакции цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. е. Ф. Карский. Явно испорченные чтения Лаврентьевского списка исправляются по другим спискам.

[2] См.: *Лихачев Д. С.* Комментарии // Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. М., 1996. С. 536.

[3] См.: *Лихачев Д. С.* Комментарии. С. 428—429; *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 70—71.

[4] *Успенский* сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.

[5] Третья редакция «Повести временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов.

[6] «Киевская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов.

[7] «Слово о полку Игореве» цитируется по изданию: Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967.

[8] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд., доп. М., 1985. С. 40—42, 51.

[9] «Владимиро-Суздальская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.

[10] «Галицко-Волынская летопись» цитируется по изданию: ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. М., 1981.

[11] Кстати, именно под 1190 г. «Киевская летопись» сообщила об аналогичном, вовсе не осуждаемом побеге галицкого князя Владимира Ярославовича из венгерского плена с помощью двух венгров («онъ же изрезавъ шатеръ, и сви собе ужище, и свесися оттуду доловь от сторожии же его, — бяста ему два во приязнь» — 666).

Часть 2

ФОРМЫ

4. Летописные концовки и умонастроения летописцев XI—XVI вв.

Концовки летописных статей и эпизодов как знак завершения того или иного сюжета нередко имели дополнительный, литературно интересный смысл. Рассмотрим концовки примерно в десяти летописях, самых важных для нашей темы.

«Повесть временных лет»

При всем обилии повторяющихся фразеологических концовок в «Повести временных лет» видно, что они еще не оформились у летописца в устойчивый элемент литературной поэтики произведения и поэтому были эпизодичны и далеко не всегда содержали дополнительный смысл сверх фактографического утверждения.

И все же дополнительный смысл концовок у летописца регулярно присутствовал, а сводился он к обозначению долговременности упоминаемых явлений. Так, летописная статья под 955 г. о взаимоотношениях княгини Ольги с сыном своим Святославом заканчивалась фразой: Ольга «кормящи сына своего *до мужьства его и до взраста его*» (64)[1]. Далее следуют восемь «пустых» годов и лишь затем сообщается, что «князю Святославу възрастъшю и възмужавшю», — то есть концовкой статьи под 955 г. летописи подразумевал, что долго-таки Ольга «кормила» своего сына.

Почему летописец остановился на концовке о долговременном «кормлении» Святослава Ольгой? Возможной причиной было поведение Ольги как уже христианки, которая в отличие от язычников обязана была опекать своих детей, пока они не станут взрослыми. Но для нас интереснее творческая причина, — стремление летописца показать Ольгу как человека исключительно постоянного в разных сторонах ее жизни. Вот свидетельства. Во-первых, Ольга преданно любила своего сына; это летописец подтвердил не только перед концовкой своего рассказа («обаче любяше Ольга сына своего Святослава»), но и концовкой предыдущего рассказа под 947 г. («пребываше съ нимъ въ любъви» — 60; и далее семь «пустых» годов).

Во-вторых, Ольга неотступно мстила деревлянам, убившим ее мужа. В-третьих, Ольга неуклонно стремилась к принятию христиан-

ства (си бо *от възраста* блаженая Ольга искаше мудростью все въ свете семь, налезе бисеръ многоцененъ, еже есть Христосъ» — концовка похвалы Ольге в составе статьи под 955 г., 62). В-четвертых, Ольга всегда была защищена от дьявола (ей обещано: «Христосъ … тя избавить от неприязни и от сетии его» — 61—62; и верно: Господь «защитилъ бо есть сию блаженую Вольгу от противника и супостата дьявола» — 69, концовка статьи под 969 г.). В-пятых, даже тело умершей Ольги лежало нетленно (Ольгу «вси человеци прославляють, видяща лежащю в теле *за многа лета*» — 68, под 969 г.). Было ли так на самом деле, мы не знаем, но, думается, Ольга как идеально постоянный персонаж был представлен летописцем.

Подобные приведенным выше «**неточные**» обозначения отрезков времени в других концовках летописных рассказов бывали разными фразеологически, но литературный смысл их был один и тот же — долговременность явления. Концовки с приблизительным счетом годов указывали у летописца на застылость состояния персонажей и кроме Ольги. Например, киево-печерский монах Антоний Великий «сконча животъ свои, живъ в добродетели, не выходя ис печеры *лет 40* нигде же» (158, под 1051 г., первая концовка эпизода). «Лет 40» — это неопределенно долго. И действительно, по описаниям летописца, Антоний всегда пребывал в подвижническом житии: «ядыси хлебъ сухъ, и то же чересъ день, и воду в меру вкушая… и не да собе упокоя *день и нощь*, в трудехъ пребывая, въ бденьи и в молитвахъ» (157, концовка эпизода).

У другого киево-печерского монаха по имени Исакии, как рассказал летописец, разные состояния, сменяя друг друга, задерживались тоже надолго: то он «затворися в печере… и того створи *лет 7*, на светъ не вылазя» (192, концовка эпизода под 1074 г.); то затем он заболел и *за 2 лета* лежа си, ни хлеба не вкуси, ни воды, ни овоща, ни от какаго брашка, ни языкомъ проглагола, но немъ и глух лежа *за 2 лета*» (194, концовка эпизода); то после выздоровления Исакий долго терпел преследования бесов: «се бы… *за 3 лета* та брань си» (197—198, концовка эпизода). Отчего так растягивались сроки? Оттого что Исакия летописец изобразил вообще очень медлительным и фантастически заторможенным человеком: до болезни Исакий сиднем сидел «въ кельици мале, яко четырь лакоть … на ребрехъ не легавъ, но седя» (192); после болезни медленно учился вкушать хлеб; затем так и не восстановил чувствительность: «все терпяше: приимаше раны, и наготу, и студень день и нощь» (196), в мороз «стояше крепко и неподвижно … яко примерзняшета нозе его г камени, и не движаше ногама» (195); а то «вступль ногама босыма на пламени» и стоял (196) и т.д.

На долговременность явлений указывали также иные по форме, но распространенные в летописи концовки с формулами **«до сего дне», «и доныне», «и ныне»**. Имелись в виду в основном материальные памятники, — могилы, кости, церкви, города. Причиной распространенности таких концовок являлось стремление летописца показать постоянство иного рода, — то, как устойчива на Руси память о своем прошлом: современники летописца знали и называли эти памятные места («есть же могила его *и до сего дни*, словеть могыла Ольгова» — 39, под 912 г., первая концовка рассказа об Олеге Вещем; еще: идола Перуна выбросило на мель, «и оттоле прослу Перуня мель, яко же *и до сего дне* словеть» — 117, под 988 г., концовка эпизода); погребения сами напоминали о себе (в пещере Антония Великого «лежать моще его *и до сего дне*» — 158, под 1051 г., концовка эпизода); древние предметы и села не были забыты (княгиня Ольга: «сани ее стоять въ Плескове *и до сего дне* и есть село ее Ольжичи *и доселе*» — 60, под 947 г.; концовка первого сообщения); старинные церкви были знакомы современникам летописца («церковь … яже стоить *и до сего дне* Тьмуторокани» — 147, под 1022 г., концовка летописной статьи; «и церковь, юже сдела Изяславъ, яже стоить и *ныне*» — 181, под 1072 г., концовка вступительного сообщения летописной статьи).

По рассказам летописца, памятники деяний русских властителей были известны и даже поминались и за пределами Руси (Кий пытался поселиться на Дунае — «*и доныне* наречють дунаици городище Киевець» — 10; разрушенные Святославом византийские города «стоять *и до днешняго дне* пусты» — 70, под 971 г.; у Святополка Окаянного «межю ляхы и чехы… есть же могыла его в пустыни *и до сего дне*, исходить же из нея смрадъ золъ» — 145, под 1019 г.; тмутороканский князь Роман Святославович был убит у половцев — «суть кости его *и доселе* лежаче тамо» — 204, под 1079 г.).

Русские персонажи у летописца тоже постоянно помнили о прошлом Руси и славян (например, через 90 лет после события один из киево-печерских монахов «именемь Еремия, иже помняше крещенье земле Русьскыя» — 189, под 1074 г.; Владимира-крестителя «в память держатъ русьстии людье, поминающе святое крещенье» — 131, под 1015 г.; «и есть притъча в Руси *и до сего дне*: “Погибоша, аки обре”» — 12). И сам летописец возвращался мыслями к далекому прошлому (например, под 1095 г.: «В се же лето придоша прузи на Русьскую землю … и не бе сего слышано *в днехъ первых* в земли Русьсте» — 226).

Внимание к явлениям постоянным в жизни побуждало летописца отмечать концовками устойчивость судеб других древних народов, —

хазар («володеють бо козары русьскии князи *и до днешнего дне*» — 17); поляков («быша же радимичи от рода ляховъ … платять дань Руси, повозъ везуть *и до сего дне*» — 84, под 984 г.; «многы ляхы … Ярославъ посади на Ръси, *и суть до сего дне*» — 150, под 1030 г.); печенегов («не ведяху, камо бежати … тоняху … а прокъ ихъ пробегоша *и до сего дня*» — 151, под 1036 г.); торков («торци убояшася, пробегоша *и до сего дне*» — 163, под 1060 г.). Иногда устойчивое свойство народа летописец отмечал не в концовке, а в попутном замечании по ходу своего повествования (например: «суть бо греци лстивы *и до сего дни*» — 70, под 971 г.). Преходящие черты этносов летописец не упоминал.

Наконец, максимальную долговременность явлений летописец обозначил в концовках о бесконечной вечности тех или иных состояний персонажей, особенно когда писал о «том свете» (блаженный князь «*вечнеи* жизни и покою сподобися» — 207, под 1086 г.; а злодей «по смерти *вечно* мучимъ есть» — 145, под 1010 г.; половцы «на ономъ свете … уготовании огню *вечному*» — 233, под 1096 г.).

И в земной жизни в концовках воинских рассказов летописец провозглашал вечную славу победы (например: разгромив половцев, «възвратишася русьстии князи въ свояси съ славою великою, и ко всимъ странамъ далнимъ рекуще — къ грекомъ, и угромъ, и ляхомъ, и чехомъ, — дондеже и до Рима проиде, на славу Богу *всегда, и ныня, и присно, во веки*, аминь» — третья редакция «Повести временных лет», 273, под 1111 г.[2]). Сюда же летописец подверстал и дипломатические договоры, где регулярно обещали противники вечность заключенного мира (в договорах руси со греками, в заключительных формулах: «да храним тако ж любовь … *всегда и во вся лета*» — 34, под 912 г.; «да хранить си любовь правую, да не разрушится, дондеже солнце сьяеть и весь миръ стоить *в нынешния веки и в будущая*» — 53, под 945 г.; «толи не будеть межю нами мира, елико камень начнеть плавати, а хмель почнет тонути» — 84, под 985 г.).

Иногда сроки вечности явлений в концовках у летописца сокращались, но все-таки оставались неопределенно долгими. Так, «человекы нечистыя», запертые еще Александром Македонским в непроходимых горах, но пытающиеся прорубиться, «*в последняя же дни* … изидут» «и осквернять землю … си скверний языкы» (235—236) концовка рассказа под 1096 г.).

Судя по рассмотренным концовкам летописных статей и эпизодов, можно предположить, что летописец искал некие постоянные и устойчивые явления как в прошлом, так и в современном ему крайне нестабильном мире.

Перейдем к другому виду концовок. Многочисленные концовки **о возвращении персонажей домой** тоже свидетельствовали об уже знакомом нам отборе стабильных явлений летописцем. Например, рассказ о крещении Ольги в Царьграде летописец закончил концовкой: Ольга «иде с миромъ въ свою землю и приде Киеву» (62, под 955 г.). Дополнительный литературный смысл этой концовки — прочность крещения Ольги. И действительно, непосредственно перед концовкой рассказа царьградский патриарх заверил Ольгу о будущем: «Христосъ *имать схранити* тя … тя избавить от неприязни и от сетии его». И далее летописец прямо подтвердил это: Бог «защитилъ бо есть сию блажену Вольгу от противника и супостата дьявола» (69).

Тот же смысл долговременной прочности свершившегося события имела концовка рассказа о крещении киевлян Владимиром Святославовичем: «крестившим же ся людемъ идоша кождо в домы своя» (118, под 988 г.). Зачем летописцу понадобилось завершать эпизод само собой разумеющимся указанием о возвращении людей по домам? Только для того, чтобы композиционно «закруглить» рассказ? Думается, что эта концовка у летописца обладала и дополнительным смыслом, обозначая увековеченность крещения киевлян. Недаром опять же непосредственно перед концовкой дьявол стенал о своем будущем: «*не имам уже царствовати* въ странах сихъ».

Но выделение стабильных явлений не превратилось у летописца в навязчивую цель. Так, хотя самыми частыми в летописи были стандартные концовки о возвращении персонажей из похода домой, однако дополнительный смысл во многих этих формальных концовках был редок и слаб. Приходится сомневаться в том, что у летописца даже пышные концовки о возвращении с победой неизменно загадывали так уж далеко. Например, под 1103 г. летописец завершил статью о крупнейшей победе русских над половцами торжественной концовкой: «и придоша в Русь с полоном великым, и с славою, и с победою великою» (279). Но ни намека на длительность победных результатов концовка не содержала, а через два года, под 1106 и 1107 гг., летописец уже снова сообщил о нападениях половцев.

Концовки о возвращении домой в рассказах с иными, невоенными сюжетами тем более не подразумевали длительных явлений. Вот парадоксальный пример. Статью под 1072 г. о перенесении мощей Бориса и Глеба русскими князьями летописец заключил благостной концовкой: «обедаша братья на скупь кождо с бояры своими с любовью великою … после же разидошася в своя си» (182). Великая любовь? Но и года не прошло, а тут же последующей фразой летописец объявил о раздоре между теми же князьями: «Въздвиже дьяволъ котору въ братьи сея … бывши распри межи ими» (под 1073 г., 182).

Тем не менее внимание к стабильности описываемых явлений летописец все-таки проявлял, хотя и непоследовательно. Об этом еще свидетельствуют концовки с формулой «**и тако**». Главный их литературный смысл — подразумевание длительности результата событий (разгром: «русь, видящи пламянь, вметахуся въ воду морьскую, хотяще убрести, *и тако* възъвратишася въ своя си» — 44—45, под 941 г.; спасение: «привезоша жито *и тако* ожиша» — 147, под 1024 г.; и др. концовки эпизодов).

Некоторые из этих концовок эпизодов означали долговременное постоянство действий персонажей (ср.: словене «облеются водою студеною *и тако* оживуть, и то творять *по вся дни*» — 8—9; Владимир Святославович «стваряще праздникъ великъ … *и тако по вся лета* творяше» — 125, под 996 г.). Концовки же эпизодов о роковых нападениях на князей, возможно, подразумевали у летописца окончательность, даже вечность результата действий («*и тако убьенъ* бысть Ярополкъ» — 78, под 980 г.; «*и тако скончася* блаженыи Борисъ, венець приемъ от Христа-бога» — 134, под 1015 г.; «*и тако* зле *испроверже животъ* свои Итларь» — 228, под 1025 г.; и т. п.).

В общем, желанный для летописца была некая реальность со стабильными явлениями и свойствами. Поэтому летописец, рассказывая о конкретных событиях, делал выводы об общих принципах бытия, опираясь на цитаты из Священного писания, на афористические высказывания персонажей и на собственные рассуждения. Например, под 1068 г. летописец объяснил нашествие половцев и мятеж в Киеве нарушением мирного крестного целования между князьями и, закончив рассказ концовкой о победоносном возвращении домой того князя, который крестное целование соблюдал («и възвратися с победою в градъ свои»), летописец разразился поучением о необходимости всегда соблюдать крестное целование: «Да не преступають честнаго креста, целовавше его; аще ли преступить кто, то и зде прииметь казнь, и на придущемь веце казнь вечную» (172). Стабильности жизни хотелось летописцу начала XII в.

Летописи XII—XIII вв.

Во **«Владимиро-Суздальской летописи»** концовки летописных статей и эпизодов стали преимущественно однообразными; в них летописец неизменно отмечал, кого куда, в какой город послали княжить, куда, в какой город пошел или куда воротился князь, либо куда разошлись князья. Летописец внимательно фиксировал местонахождение князей в каждый данный момент, составляя своего рода географическую карту передвижения князей, что было важно в эпо-

ху наступившего феодального дробления Руси. Та же «географическая» пристальность летописца отразилась и в концовках о смерти князей и княгинь: где, в какой церкви и в каком именно месте церкви положено и лежит знатное тело. Эти сведения летописец указывал неукоснительно.

Добавочный смысл часто повторяемых концовок был скуден и лаконичен: «воротишася с победою великою»; «не успе ничто же, възвратишася вспять»; «много зла створше, възвратишася». Позднее об удачливых князьях, ездивших в Орду, сообщалось: «възвратися в свою землю с великою честью». Местопребывание врагов летописец тоже отслеживал, но знал не очень определенно: «половьци идоша домовь»; «а сами идоша в станы свое». Летописец оставался фактографом. Попытка уследить за всеми обернулась сухостью изложения.

Единственное исключение составляет картинная концовка летописной статьи под 1206 г.: «и въехаша в градъ Володимерь и поклонися отцю своему Костянтинъ; отець же его, вставъ, обуимъ ѝ, целова любезно ѝ с радостью великою, яко Ияковъ-патриархъ, Иосифа Прекраснаго видевъ» (428—429)[3]. Речь идет о торжественной встрече тогда новгородского (впоследствии ростовского, затем владимирского) князя Константина его отцом знаменитым великим князем владимирским Всеволодом Большое Гнездо. Теплая риторичность приведенной концовки объясняется тем, что летописец с подчеркнутым благоговением относился ко Всеволоду и Константину и почти каждое упоминание о них сопровождал похвальными эпитетами, описаниями впечатляющих церемоний и библейскими параллелями, — но все в пределах традиции.

Сравнительно с ранними киевскими летописцами XI — начала XII в. описываемая реальность у более поздних владимирских летописцев XII — начала XIII в. рассыпалась на множество отдельных официальных фактов (хотя «Повесть временных лет», безусловно, повлияла, в первую очередь фразеологически, на северо-восточное летописание).

Перейдем теперь к краткому обзору концовок в «**Киевской летописи**», современной владимирскому летописанию, и убедимся, что в «Киевской летописи» концовок, в сущности, нет. Эпизоды и летописные статьи могли прерываться на чем угодно, — на сообщениях о прекращении брани, о содержании в плену или отпуске, о крестоцеловании, о казни и убийствах, о плачах или радости, об обмане и надеждах, о речи того или иного князя, об обещаниях и т.д. Иногда, правда, встречались и привычные концовки о возвращении «во своя си» или положении тела умершего, но они уже не имели особого

«географического» значения. Главным для летописца было изложение бесконечно продолжающегося потока событий, в результате чего «повествование приобрело характер уже не только последовательного, но и непрерывного изложения», — как показал И. П. Еремин в своей прекрасной и ничуть не устаревшей работе 1949 г. о «Киевской летописи»[4].

И. П. Еремин выделил и главную повествовательную черту «Киевской летописи» — ее документальность, «прямое отражение реальной действительности»[5]. Но добавим: документальность «Киевской летописи» отличалась от «географической» документальности владимирского летописца, потому что киевский летописец XII в. стремился пространно писать буквально обо всем, во всех подробностях и деталях событий, для него равновелико важных.

Но как не захлебнуться в столь необычайно обильном материале? Летописец, основываясь на повествовательной традиции, насильственно нарубил рассказы по годам, а под одним годом «насовал» разные сюжеты. В результате, рассказы стали прерываться, нередко, как говорится, «на самом интересном месте», и не факт, что сюжет был продолжен летописцем под следующим годом или закончен вообще. Кроме того, в летописи гигантские рассказы хаотически стали чередоваться с мелкими погодными сообщениями. В этих условиях концовки, как правило, оказались не нужны.

Конечно, повествовательная манера обширной «Киевской летописи» заслуживает обстоятельного изучения и после работы И. П. Еремина. Нам же необходимо было хотя бы предположительно объяснить феномен «бесконцовочности» «Киевской летописи».

Новая манера летописного повествования возобладала в XIII в., в «**Галицко-Волынской летописи»**, расщепленной на множество сравнительно небольших или даже мелких эпизодов[6]. Главным элементом изложения стал эпизод, а деление по годам получилось чисто формальным, не всегда строго соблюдаемым и к тому же ошибочным. Летописец уже заботился о литературном оформлении эпизодов и, в частности, «закруглял» их типовыми концовками. Самой частой являлась концовка о возвращении персонажа домой — с удачей, или неудачей, либо просто назад («возвратишася с великою славою»; «не воспевшимъ ничто же, вратишася»; «возвратистася во землю свою»; «возвратишася восвояси»; «звратишася в домы»; «поидоша назадъ» и т. д.). Довольно часто концовкой эпизода становилось итоговое сообщение о количестве убитых или о масштабе убийств в бою («убьено же бысть ихъ числомъ 500, а инии разбегошася»; «много убиства створиша в нихъ»; «избиша е все от мала и до велика»; «велико убий-

ство створи земле той» и пр.). Наконец, на третьем месте по распространенности были концовки о радости людей (либо о других чувствах) в соответствующих обстоятельствах («сретоша и с великою радостью»; «и бысть радость велика»; «и бывшу веселью не малу»; «и возрадовася о семь» и пр.). Литературные достоинства «Галицко-Волынской летописи» исследователи уже давно оценили высоко, вот и сознательное разделение изложения на эпизоды тоже вошло в систему литературного творчества летописца XIII в.

Но комплекс концовок выдавал еще и направленность действий галицкого летописца на классификацию, на некоторое упорядочение жизненных ситуаций, на отнесение их то в разряд горестных явлений (например, «беда бо бе в земле Володимерьстеи»); «бе исполнена земля Руская ратныхъ»; «о злее зла зло есть»), то — реже — в разряд событий положительных («тако бо милость Бога»; «Богу помогающу имъ»). Концовками летописец давал окончательную характеристику персонажей по некоей моральной шкале («в правду бе антихристъ за скверная дела его»; «загорде бо ся»; «бе бо дерзъ и храборъ от главы до ногу его, не бе на немь порока»; «бяшеть человекъ святъ, акого же не будеть перед ним и ни по немь не будеть» и мн. др.). Концовками летописец формулировал уроки, извлекаемые из событий («яко же не от помощи человекомъ победа, нъ от Бога»; «на Бога надеятися и на нь возложити печаль»; «Богъ спасеть своею волею» и т. п.).

Еще некоторые концовки (фраза, завершающая речь персонажа, или упоминание автора о прекращении рассказа «от множества ради» фактов и т. д.) вносили свою лепту в градацию событий. Конечно, в «Галицко-Волынской летописи» хватало эпизодов и без отчетливых концовок.

В итоге, если брать, по нашим наблюдениям, преобладавшие литературные тенденции у летописцев, то на материале летописных концовок можно заметить эволюцию древнерусского летописания в отображении реальности в течение XI—XIII вв.: летописцы сначала искали стабильные принципы бытия; затем отказались от их поисков под напором разнородных фактов; однако потом все-таки стали тяготеть к систематизации типичных явлений жизни.

И последнее замечание о концовках в летописях XII—XIII вв. В тексте **«Новгородской первой летописи»** старшего извода из-за лаконичности сообщений в большинстве случаев эпизоды заменили одна-две фразы о том или ином событии. Последние же фразы сравнительно длинных летописных статей до первой трети XIII в. все же иногда напоминали концовки, но фактографические, — они обычно сообщали о поставлении или назначении персонажей на важный пост

(либо о захвате его), о дороговизне еды, об удачности мелких походов или о неудачах из-за наших грехов. Концовки перестали быть литературным явлением в «Новгородской первой летописи»; летописец попросту вел учет административно-хозяйственных фактов реальности. Каждая ранняя летопись шла своим путем в отображении жизни.

Летописи XIII—XVI вв.

Подавляющее большинство летописей XIII—XVI вв. имели только фактографические концовки эпизодов и статей, сообщавших, куда князь пошел или возвратился, где «сел» или куда кого послал, кому что дал, где его тело положили и пр.

Но в некоторых летописях этого периода, преимущественно в рассказах о трагических событиях, стали использоваться летописцами и концовки нравоучительные, — обычно о наказании нас за грехи, о необходимости покаяться и с надеждой на милость Бога. Пожалуй, раньше всего такие повторяющиеся концовки в виде небольших заключительных поучений появились в **«Симеоновской летописи»**, в рассказах о больших пожарах, моровых болезнях, крупных поражениях и вражеских нашествиях (начиная, примерно, с 1185 г.). Концовки эти выдавали довольно спокойное отношение летописцев к описываемым давно прошедшим событиям, так как были все-таки формальны, однообразны композиционно и фразеологически, зачастую с вкраплением покаянных выражений из «Повести временных лет» и из «Сказания о Борисе и Глебе». Появление нравоучительных концовок в «Симеоновской летописи» было обусловлено стремлением летописцев к общей благочестивости повествования, для чего он неуклонно перемежали свои фактографические сообщения поучительными замечаниями и цитатами, и в эту систему органично входили и концовки. Объясняя события гневом Бога, помощью Бога, «строением» Бога, милосердием Бога, «попущением» Бога, человеколюбием Бога и т. д. и т. п., летописцы подчеркивали широкую значимость событий и составляющих их эпизодов, на самом деле узко местных, владимирских, — — типичная местническая черта.

Жизненная позиция летописцев постоянно колебалась. Например, в уже упомянутой **«Новгородской первой летописи»** старшего извода с 1230 г. в действиях летописца произошла резкая перемена. Нравоучительные концовки эпизодов и статей и нравоучительные замечания по ходу изложения не просто вдруг заполнили летопись, ранее фактографичную, но отразили крайнее отчаяние летописца, его «горкую и бедную память» о происходивших несчастьях из-за татаро-монгольского нашествия, пожаров, болезней, голода и пр. Так, в ста-

тье под 1230 г. о голоде и беспорядках в Новгороде летописец не ограничился традиционными упоминаниями о наказании за грехи, а растерянно, с ощущением безысходности, можно сказать, оплакивал происходившее: «Что бо рещи или что глаголати о бывшеи на нас от Бога *казни*?»; «колику Богъ наведе на ны *смерть*…»; «и кто не прослезиться о семь…»; «не бысть милости межи нами, нъ бяше *туга и печаль*, на уличи *скърбь* другъ съ другомъ, дома *тъска*…» и т. д. (69—71)[7]. Греховность людей у сокрушенного летописца превзошла всяческие границы: «Того же Богъ видя наша безакония, и братоненавидение, и непокорение друг къ другу, и зависть, и крестомъ верящеся въ лжю … того же мы, въ рукахъ дьржаще, скверьньни усты целуемъ; и за то Богъ на нас поганыя наведе…; а иное, сами не блюдуче, без милости истеряхомъ свою власть» и т.п. (69). Не преминул новгородский летописец подчеркнуть и огромные географические масштабы горя: «горе уставися велико»; «разидеся *градъ* нашь и *волость* наша»; «*землю* нашу пусту положиша… и тако бысть пуста» (69); «се же горе бысть не въ нашеи земли въ одинои, нъ *по всеи области Русстеи*» (71).

В последующих трагических рассказах новгородский летописец маниакально повторял обличения людей в безмерной греховности, да еще клеймил зловещими концовками: «Всякъ бо злыи зле да погыбнеть» (82, под 1257 г.); «еже бо сееть человекъ, то же и пожнеть» (97, под 1325 г.); «а оже кто подъ другомъ копаеть яму, самъ впадется в ню» (100, под 1337 г.).

В прочих новгородских летописях с начала XV в. нравоучительные концовки в рассказах о необычных природных явлениях или смертях стали превращаться в пространные поучения, притом уже более спокойные и с большей надеждой на милость Божию. Например, см. концовки-проповеди в **«Новгородской летописи» по списку Дубровского** под 1402 г, 1416, 1419, 1421 гг. Можно предположить усилившуюся догматическую церковность летописцев взглядах на реальность: недаром в летопись уже были включены большие послания и поучения иерархов, духовные грамоты и пр.

К началу XV в. изменилась манера изложения и в **«Софийской второй летописи»**, которая в своей доскональной подробности повествования пошла по пути «Киевской летописи», но со значительной композиционной перестройкой. В бесконечные сообщения фактов летописец регулярно стал вставлять самостоятельные, довольно большие, иногда огромные, отрывки из житий, военные повести, послания и пр., усугублявшие подробность изложения. Но эти крупные вставки в летописной статье, как правило, завершались сравнительно коротким фактографическим приложением о том, что же еще про-

изошло «того же лета», перечисляя события менее значительные. То есть, в отличие от «Киевской летописи», летописец в «Софийской второй летописи» исходил из четкой градации, какие жизненные события важны, а какие — нет.

Таким образом, в течение XI—XVI вв. отношение летописцев к окружающей реальности довольно быстро менялось, что послужило одним из стимулов создания все новых и новых летописей во все новых и новых исторических условиях.

В связи с этим рискнем предположить, что разрастание нравоучительных концовок рассказов и сообщений содействовало отмене погодного летописного изложения и превращению летописей в исторические трактаты вперемешку с фактографическими повестями. Таким разнородным трудом стала, например, огромная **«Степенная книга»**, в которой чисто летописные отрывки с фактографическими концовками перемежались подчеркнуто нравоучительными риторическими обработками летописных рассказов. Характернейшим образчиком принятого стиля являлось уже вступительное в книге «Житие княгини Ольги». Благостные концовки статей «Жития Ольги» нередко призывали радоваться: «отъ Бога … пресладкаго вкуса богоразумия насыщаеми, *веселимся*» (7); «*веселящися* и благодарящи Бога» (14)[8] и т.д. Соответственно рассказы об Ольге и ее окружении были наполнены высказываниям и о радости: «*возрадуемся* Господеви … поюще ему песнь *въ веселии*» (6); «*возрадовася… радостию* неизглаголанною» (14); «*возвеселися* сердце мое и *возрадовася* языкъ мой» (19); «*радости и веселия* зде исполнихся … *радующеся* вси» (20) и мн. др. Даже плач был радостным: «отъ *радостнотворнаго* же плача слезами себе обливаше» (14); «*отъ радости* слезъ множество отъ очию испущающе» (28) и пр. Совершенно ясно, что все эти безмерно упоминаемые радость, веселие и умиление выражали не возбуждение составителя «Степенной книги», а его заботу о навязчивой, до мелочей, идеализации действительности. Процесс для XVI в. известный (см. хотя бы работы Д. С. Лихачева): официозная идеология пропитала литературу.

Остается сказать о **«Казанской истории»**, условно относимой к летописным произведениям, но, как нам думается, под натиском пафосности и нравоучительности совсем отступившей от изложения по годам и предпочевшей повествование по главам. Повествование в «Казанской истории» гораздо ярче, чем в «Степенной книге». Автор «Казанской истории» завершал главы и эпизоды разнотипными концовками, то афористичными, то напоминавшими сравнения (кстати говоря, заполнившими все его сочинение). То концовки перерастали в

большие поучения, особенно в речах князей и царей. Но во всех этих концовках отразилось авторское стремление показать так или иначе умиротворенную реальность. Показательно, что автор высказал неожиданную мысль: «Яко не токмо спомогает Богъ христианомъ, но и поганымъ способствуетъ» (324, концовка главы 10)[9], — нетрадиционное, умиротворенное отношение автора к казанцам известно.

В своих нравоучительных замечаниях и концовках о желаемых принципах поведения людей, и русских, и татар, автор «Казанской истории» прежде всего проповедовал смирение («покорно слово сокрушаетъ кости, и смиренныя сердца и сокрушенныя Богъ не уничижитъ» — 322); взаимное сочувствие («всякъ бо человекъ, иже в скорбехъ возрасте и в бедахъ множественых, всемъ искусенъ бывает и можетъ многостражущим в напастех спомогати» — 360); автор даже говорил об умиротворяющей роли денег («и намъ мнится, яко силнейши есть злато вой безчисленых: жестокаго бо умягчеваетъ, мяхкосердое ожесточеваетъ, и слышати глуха творитъ, и слепа видети» — 354). Все трудное, по мнению автора, кончается радостью: «И весте сами боле мене: кто венчается без труда? Земледелец убо тружается с печалию и со слезами, — жнетъ бо *веселиемъ и радостию.* И купец тако же оставляетъ домъ, жену и дети и преплаваетъ моря, и преходит в далния земли, ища богатства, и егда обогатеет и возвратится, и вся труды *от радости* забывает, и покой приемля з домашними своими» — 490). И в своих сравнениях персонажей с типами людей автор «Казанской истории» предпочитал «нежные» темы взаимной любви родителей и чад (хотя речь шла о войне, пленниках и пр.) и особо чувствительную тему младенчества (хотя речь шла о жестоком лишении персонажей всего имущества, но смягчаемом сочувствием окружающих: «Они же во единъ час нази оставахуся, *яко рожени*, от всего своего лишаеми … ныне же сами от боголюбцевъ снедениа приемляху» — 368).

Умиротворенная реальность у автора «Казанской истории» обозначалась и скрыто, парадоксальным путем: хотя он много писал об ужасах войны и всяческих несчастьях и обильно использовал самые сильные традиционные средства поругания противника, но в авторское повествование добавился целый пласт уже спокойных бытовых концовок и особенно сравнений, ранее в древнерусских воинских описаниях редких или вообще не употреблявшихся.

Автор привлек в сравнения предметы тихого быта: «аки в села своя поеха прохлажатися» (300); «ходити и ездити, аки по мосту» (338); «аки свеща, на все страны видя» (418) и пр.

Исключительно часто автор вспоминал о неблагополучных домашних животных, от которых благополучно избавляются: «яко

свиней, ножи закалаемых» (426); «резаху, аки свиней» (524); «аки гладные овцы, и друг друга растерзавше» (428); «Яко мышей, давляху» (564) и т. п.

Упоминания диких животных и птиц в авторских концовках и сравнениях были даже более умиротворенными, чем о домашних животных: «И никий же бо лютый зверь убиваетъ щенцы свои, и ни лукава змия пожирает изчадии своих» (404); «яко птицы или векшицы, прилепляющися, яко ноготми» (516); «яко смирну птицу въ гнезде со единым малым птенцем» (410); «яко птицы, брегоми в клетцах» (548).

И чаще всего совсем умиротворенными у автора явились сравнения с окружающей природой: «возрасте … яко древо измерзшее, от зимы солнцу обогревшу и весне» (326); «аки цвет красный, цветешъ или ягода вишня, наполнися сладости» (416); «аки … вешняя великая вода по лугомъ разлияся» (468). Правда, концовки и сравнения эти бывали и менее оптимистичными: «терние остро есть, не подобает ногам босым ходити по нему» (436); «яко листвие от древес на землю … низпадоша» (368); «яко реками, кипяше и всякими сквернами и нечистотами преизобиловашеся» (540); «аки моря, биющагося о камень волнами, и аки великаго леса, шумяща напрасно» (506) и др. Но преобладающая смысловая тенденция нетрадиционных концовок и сравнений у автора «Казанской истории» отличалась бодростью и входила в общую картину желаемой автором умиротворенной действительности.

Итак, по концовкам летописных статей и эпизодов XII—XVI вв. (а также по дополнительным данным) наблюдаются существенные изменения в структуре повествования и в отображении действительности летописцами: от свободных поисков стабильных, «вечных» явлений («Повесть временных лет»), летописцы перешли к сухой, «рассыпчатой» подаче событий («Владимиро-Суздальская летопись»), затем и к их систематизации («Галицко-Волынская летопись»); а после пережитого отчаяния («Новгородская первая летопись») летописцы стали усиливать успокоительную благочестивость своих рассказов («Симеоновская летопись», «Степенная книга») и, наконец, прониклись чувствами умиротворения («Казанская история»). За всеми этими относительно быстрыми колебаниями картин реальности и смысла концовок у летописцев, конечно, просвечивает влияние исторических перемен на Руси и ее усиления, но это уже тема отдельного исследования.

Что же касается самих концовок, то их литературная ценность, хотя и не велика и не постоянна, но все-таки своеобразна в истории собственно литературы как искусства.

Примечания

[1] «Повесть временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот.е. Ф. Карский.

[2] Третья редакция «Повести временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов.

[3] «Владимиро-Суздальская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.

[4] Еремин И. П. Литература Древней Руси: (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966. С. 103.

[5] Там же. С. 104.

[6] См. деление «Галицко-Волынской летописи» на эпизоды, старательно проделанное незабвенной О. П. Лихачевой в издании: Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981. С. 236—424.

[7] «Новгородская первая летопись» цитируется по изданию: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950.

[8] «Степенная книга» цитируется по изданию: ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21, ч. 1 / Текст памятника подгот.п. Г. Васенко.

[9] «Казанская история» цитируется по изданию: ПЛДР: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова и И. А. Евсеева. М., 1985.

5. Литературные циклы в «Лаврентьевской летописи» и в летописях XII—XIII вв.

Под древнерусским литературным циклом мы понимаем: 1) цепь отдельных законченных рассказов, 2) на однотипную тему, но о разных событиях, 3) объединенных в составе одного произведения или книги, 4) сходных мотивами, деталями, композицией и — главное — фразеологией. Повторами и определяется содержание цикла.

В качестве «крепкого» примера для исследования выбираем «Лаврентьевскую летопись» (по Лаврентьевскому списку 1377 г.). Она содержит «Повесть временных лет» начала XII в. и продолжающую ее «Владимиро-Суздальскую летопись» начала XIV в., которые были объединены в недошедшем до нас владимирском летописном своде 1305 г. (как это установлено М. Д. Приселковым).

Рассмотрим «Лаврентьевскую летопись» (то есть свод самого начала XIV в.) как единое литературное целое. Текстологический и кодикологический подходы к этой летописи уже успешно осуществлены (в работах А. А. Шахматова, Я. С. Лурье, Г. М. Прохорова и др.). Нас же интересует собственно литературоведческий подход, начатый И. П. Ереминым более полувека тому назад и сохраняющий свою актуальность поныне.

Наиболее близко к изучению циклов в летописях в настоящее время подошел А. А. Пауткин, систематизировавший с максимальной полнотой типичные темы и мотивы летописных рассказов (в монографии: Беседы с летописцем: Поэтика раннего русского летописания. М.,

2002). Мы, в свою очередь, сосредоточимся на поиске именно циклов в «Лаврентьевской летописи» и на причинах их формирования.

В «Лаврентьевской летописи» прослеживаются, по крайней мере, четыре внутрилетописных повествовательных цикла. Самый большой — это цикл воинских рассказов. Связывает их в «длинную» литературную форму повторение одних и тех же деталей и выражений, хотя речь идет о разных военных событиях и персонажах. Обычная последовательность повествования о ходе сражения в «Лаврентьевской летописи»: враги бегут, наши же их гонят, секут, хватают руками (то есть берут в плен), убивают, а кому-то удается бежать. Вот пример из «Повести временных лет: «Половци … *побегоша, наши же* почаша *сечи, женуще* я, а другие *руками имати* и *гнаша … убиша* же Таза … а Шаруканъ едва *утече*» (ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. е. Ф. Карский. Стб. 282, под 1107 г.). А вот сходный же пример с теми же деталями, но уже из «Владимиро-Суздальской летописи»: «половци *побегоша, и наши* по них погнаша, овы *секуще*, овы *емьлюще*, и *яша* ихъ *руками*… а прочии *избиша*, а князь ихъ Тоглии *утече*» (360—361, под 1169 г.). Если летописцы рассказывали о сражениях у какой-либо реки, то к обычным «сухопутным» деталям добавляли обязательные упоминания о утоплении врагов. В «Повести временных лет»: половцы «тако бьеми, а друзии *потопоша*… а князя ихъ яша руками» и пр. (172, под 1068 г.). Во «Владимиро-Суздальской летописи»: в походе на волжских булгар «они же … побегоша, а наши погнаша, секуще поганыя бохмиты, и прибегше к Волзе … и тако *истопоша*» (390, под 1184 г.).

Подобные рассказы связывались в цикл и вследствие того, что летописцы повторяли не только одни и те же детали и выражения (в том числе ссылки на «силу честнаго креста», на Божью помощь и на молитвы святой Богородицы), но и целые фразы. Например, в «Повести временных лет» под 1103 г. великий князь киевский Владимир Всеволодович Мономах произносит торжественную речь по поводу победы над половцами: «Сь день, иже створи Господь. Възрадуемся и възвеселимся во нь, яко Господь избавилъ ны от врагъ наших, и покори врагы наша, и скруши главы змиевыя» и пр. (279). Ту же речь во «Владимиро-Суздальской летописи» уже под 1185 г. повторяет другой персонаж — правнук Мономаха переяславльский князь Владимир Глебович: «Сь день, иже створи Господь. Възрадуемся и възвеселимся в онь, яко Господь избавилъ ны есть от врагъ наших, и покори врагы наша под нозе наши, и скруши главы змиевыя» (396).

Отчего возникли начатки воинского цикла рассказов в «Лаврентьевской летописи»? По поводу только что приведенного примера

отметим, что, вероятно, в реальности существовала риторическая традиция у князей, не боясь обвинений в плагиате, повторять воинские речи своих тезоименных знаменитых предков. Вот и в «Повести временных лет» под 1060 г. великий князь киевский Святослав Ярославович призвал свою дружину перед превосходящим «множьством» врагов: «Потягнемъ, уже нам не лзе камо ся дети» (172). Святослав Ярославович повторил призыв своего прадеда Святослава Игоревича: «Уже намъ некамо ся дети» (70, под 971 г.).

Более общей же причиной формирования начатков цикла воинских летописных рассказов было воздействие литературного этикета, — явления, хорошо известного благодаря исследованиям А. С. Орлова, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. Летописцы как бы по подсказке заполняли пункты одной и той же повествовательной схемы, отражавшей типичное развитие сражений: кто кому «пристроишася противу»; каков был воинский строй; как сталкивались полки и пр.

Начатки внутрилетописного цикла как литературной формы накоплялись стихийно: ведь воинские рассказы в летописи обычно были отделены друг от друга иными летописными статьями.

По повторениям можно определить смысловое наполнение этого воинского летописного «цикла» (точнее, прото-цикла). Повторениями традиционных деталей и выражений летописцы обозначали сокрушительность поражения противника, поэтому говорили о нашем спасенье, о полной победе над врагом и о его огромных потерях. Например, в «Повести временных лет»: «И сдея Господь … *спасенье велико… Побежени быша иноплеменьци*, и князя ихъ убиша Тугоркана и сына его, и ини князи, врази наши, ту падоша» (231—232, под 1096 г.); «*Велико спасенье* Богъ створи, а на врагы наша дасть *победу велику*, и убиша ту в полку князии 20» (279, под 1103 г.). Во «Владимиро-Суздальской летописи»: «наши же … секуще я 7 тысячь, руками изьимаша ихъ князии одинехъ было половьцьсских 300 и 17… Съдея Господь *спасенье велико* нашим князем и воемъ ихъ надъ врагы нашими, *побежени быша иноплеменьници»* (395—396, под 1185 г.).

Однако мысли о *всегдашней* победоносности русских князей в данном воинском «цикле» (или прото-цикле) усмотреть нельзя, так как рассказы уже не о победах, а о сокрушительных же поражениях русских князей летописцы излагали с теми же деталями и нередко с той же их последовательностью. Ср. в «Повести временных лет»: от половцев «побеже Володимеръ с Ростиславомъ … и утопе Ростиславъ… Володимеръ же пребредъ реку … мнози бо падоша от полка его и боляре его ту падоша… Половцы же сдолевше, пустиша по земли, воююче … и побегоша наши пред иноплеменьники и падаху яз-

вени предъ врагы нашими и мнози погыбоша» (220—221, под 1093 г.). Еще однообразней была основа воинских рассказов о наших поражениях во «Владимиро-Суздальской летописи»: угры русских «овы избиша, а друзии истопоша, а многи руками изъимаша» (337, под 1152 г.); «и Божьимъ попущеньем за умноженье грехъ наших одолеша половци, и мнози от руси избьени быша, а инех изимаша и самого князя Володимера яша» (438, под 1215 г.); «и побегоша наши пред иноплеменникы, и ту убьенъ бысть князь Юрьи, а Василка яша руками безбожнии» (465, под 1237 г.) и т. д. и т. п.

Повесть о сокрушительном поражении русских от татаро-монголов под 1237 г. во «Владимиро-Суздальской летописи», подтверждая связь воинских рассказов в формировавшемся цикле, почти дословно повторила и целые отрывки о поражении греков от руси из «Повести временных лет». Вот во «Владимиро-Суздальской летописи» рассказ под 1237 г.: «*придоша от всточьные* страны на Рязаньскую землю лесом безбожнии татари, *и почаша воевати* Рязаньскую землю, и *пленоваху* и до Проньска, *попленувше* Рязань *весь* и *пожгоша*, и князя ихъ убиша; *их же емше, овы растинахуть, другыя* же стрелами растреляху в ня, а ини *опакы руце связывахуть; много же святыхъ церкви огневи предаша, и манастыре и села пожгоша, именья* не мало *обою страну взяша. Потом* поидоша на Коломну» (460). Ср. «Повесть временных лет» под 941 г.: воины Игоря «*придоша* и приплуша, *и почаша воевати* Вифиньския страны … и *всю* страну Никомидиискую *попленивше*, и Судъ *весь пожьгоша; их же емше, овехъ растинаху, другия… стреляху въ ня*, … *опаки руце съвязывахуть…; много же святыхъ церквии огнемъ предаша, манастыре и села пожьгоша*, и *именья от обою страну взяша. Потомъ* же *пришедъшемъ* воемъ *от въстока…*» (44).

Так же почти дословно в статье под 1237 г. были использованы отрывки из статьи под 1093 г. (ср. 462—464 и 222—225).

Больше того, те же детали и выражения о сокрушительных поражениях летописцы повторяли в рассказах о военных междоусобицах самих русских князей. Так, рассказ под 1180 г. о стычке между владимирским князем и рязанским князем владимирский летописец изложил в штампах повествования о сокрушительности поражения одной из сторон: в данном случае врагами выступили рязанцы — «они же побегоша, а наши погнаша и притиснуша ихъ к реце Оце, ини избиша, другыя изъимаша, а инии истопоша» и пр. (387). Рассказы о междоусобицах русских князей тоже повторяли не только детали, но и ссылки на Божью помощь и на силу креста, как например, рассказ о ссоре двух рязанских князей — Глеба Владимировича, напавшего

вместе с половцами на своего двоюродного брата Ингваря Игоревича: «и *Божьею помощью и креста честнаго силою* победи Инъгваръ злаго братоубиицю Глеба, и многы от половець избиша, а ины извязаша, а сам оканьныи вмале утече» (444, под 1219 г.). Владимирские летописцы в рассказах о междоусобицах переписывали также нравоучительные отрывки из «Повести временных лет». Таков во «Владимиро-Суздальской летописи» рассказ под 1177 г. о вражде рязанского князя Глеба Ростиславовича с четвероюродным братом (!) великим князем владимирским Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо. Глеб стал разорять владимирскую землю, по поводу чего владимирский летописец сокрушался: «…и *многы церкви запали огнемъ. Да не чюдится никто же о семь: идеже множьство греховъ, ту виденья всякого показанья. Сего ради гневъ простреся: ови ведутся полонени, друзии посекаеми* и до молодыхъ детии, инии на месть даеми поганым, *друзии трепетаху, зряще убиваемыхъ*» (383). Владимирский летописец тут опять почти дословно, но с некоторыми сокращениями, повторил отрывок из «Повести временных лет» под 1093 г.: половцы «*многы церкви запалиша огнемь. Да не чюдится никто же о семь: идеже множьство греховъ, ту виденья всякого показанья*. Сего ради вселеная предасться, *сего ради гневъ простреся*, сего ради земля мучена бысть: *ови ведуться полонени, друзии посекаеми* бываютъ, друзии *на месть даеми* бывают… *друзии трепечють, зряще убиваемыхъ*» (223).

В той же статье под 1177 г. владимирский летописец продолжил рассказ в выражениях воинского цикла: «Глебъ … побеже, гоним Божьимъ гневом. Всеволодъ же князь погна в следъ ихъ со всею дружиною, овы секуще, овы вяжюще, и ту самого Глеба яша руками… а поганые половци избиша оружьем. *Тем же и мы, последующе Давиду пророку,* глаголемъ*:* “*Боже мои, положи я, яко коло, яко огнь предъ лицемъ ветру, иже попаляеть дубравы, тако пожениши я* гневомъ *твоимь, исполнь лица ихъ досаженья, — се бо оскверниша святыи дом твои*”» (384—385). Последнюю фразу летописец выписал с единичными изменениями из «Повести временных лет», из рассказа уже под 1096 г.: «*Тем же и мы, последующе пророку Давиду*, вопьемъ: “Господи *Боже мои, положи я, яко коло, яко огнь пред лицемь ветру, иже попаляеть дубравы, тако пожениши я* бурею *твоею, исполни лица ихъ дасаженья, — се бо оскверниша* и пожгоша *святыи дом твои*”» (233). Ср. перед тем выписку и из статьи под 1015 г. (381 и 139—140). Все эти повторы подтверждают, что экспрессивное подчеркивание сокрушительности поражений и было главной темой формировавшегося цикла воинских рассказов в составе «Лаврентьевской летописи».

Реальной причиной склонности летописцев к описанию сокрушительности поражений в первую очередь послужила телесная жестокость сражений в реальной действительности XI—XIII вв. Свидетельства этого содержит сама «Лаврентьевская летопись», — летописцы поражались массовой гибели сражавшихся («мнози погыбоша и быша мертви»; «не избысть ни единъ, но все избиша»; «исекоша множьство»; «мнози от обоихъ падоша»; «многы крови проливахуться межи ими»; «погыбло ихъ 40 тысящь» и т. д.). Реальную телесную жестокость сражений отражали также сообщения о ранении князей в общей свалке (например: «бодоша конь под ним в ноздри, и конь же начатъ соватися под ним, и шеломъ с него слете, и щитъ отторже… … язвиша в руку, и свергли и́ бяхуть с коня, и хотеша и́ убити» — 334, под 1152 г.). Свалка бывала жестокой настолько, что «смятошася обои бьючися» и «бысть … межю ими смятенье: не ведяхуть, котории суть победили» (360 и 340, под 1169 и 1153 гг.). На жестокость сражений указывали также упоминания смертельных ранений, — в грудь, сердце, голову, живот, спину. Жестокость битв была привычным явлением, так что в редких противоположных случаях князья с неудовольствием заявляли: «не крепко бьются дружина, ни половци, оже с ними не ездимъ сами» (338, под 1152 г.), — и князья уж постарались.

Летописцы осознавали и постоянно ощущали эту жестокость сражений: «бысть сеча зла», «бысть брань люта», «бе бо рать велика зело», «бысть крамола зла вельми» и т. д.

Ожесточенность сражений привела к однотипности дополнительных летописных сообщений о напряжении войска накануне и в начале битвы. Из рассказа в рассказ летописцы повторяли указания на воинственный настрой сторон (поставили стяги, построились и пр.), на воинский напор («удариша в коне» и т. п.), на применение неожиданного оружия и особых тактических приемов.

Старые воинские штампы поредели и почти исчезли в конце «Лаврентьевской летописи» и стали заменяться новыми штампами, более отчаянными. Немалую роль в этом сыграла небывалая, превосходившая все ожидания жестокость татаро-монголов: «избиша оружьем от старца и до унаго и до сущаго младенца»; «от уного и до старца и сущаго младенца — и та вся избиша»; «люди от мала и до велика — вся убиша мечем» и пр. (460, 464, 470, под 1236, 1237, 1240 гг.).

Таким образом, есть основания предполагать, что воинский «цикл» (прото-цикл) в «Лаврентьевской летописи» стихийно стал формироваться под влиянием жестокой реальности сражений.

Перейдем к другому литературному прото-циклу в «Лаврентьевской летописи», — к некрологам и похвалам. Некрологи и похвалы

церковным деятелям и князьям в летописи составили небольшой, но уже несомненный литературный цикл, о чем свидетельствует, например, дословное повторение сравнительно большого риторичного отрывка из некролога Феодосию Печерскому под 1091 г. в похвале новопоставленному ростовскому епископу Луке под 1184 г. Многократно повторяя отдельные выражения и мотивы, летописцы очерчивали довольно длинную образцовую биографию благочестивого персонажа. Наиболее часто летописцы поминали указания на то, что при жизни подвижник был кроток и смирен, утешал людей, следовал учению святых предшественников, презрел мирскую «похоть», победил дьявола; а по смерти вошел в царство небесное, где молится за русских людей и Русскую землю, а люди взирают на его раку или мощи и хвалят подвижника. Эти же церковные мотивы, особенно о кротости, повторялись и в более многочисленных некрологах и в похвалах князьям. Добавлялись же в эти оцерковленные некрологи князьям однообразные упоминания о любви князя к монахам и попам, а также о строительстве им храмов.

Причиной формирования этого похвально-некрологического цикла послужила череда выдающихся людей на Руси, деятельность которых отразила «Лаврентьевская летопись». Летописцы с пиететом поминали таких людей, сопровождая краткие или пространные биографические сведения о персонажах умеренно-гиперболичными оценками. Как правило, знаменитость этих лиц не выходила за пределы Руси: киево-печерский игумен Антоний — «Антонии же прославленъ бысть в Руськеи земли … уведанъ бысть всеми великыи Антонии и чтимъ» (157, под 1051 г.); митрополит Иоанн — «сякого не бысть преже в Руси, ни по немь не будеть сякъ» (208, под 1089 г.); князь Святослав Юрьевич — «се же князь избраникъ Божии бе от рождества и до свершенья мужьства … избраныи въ всехъ князехъ» (366, под 1174 г.). Правда, затем слава несколько расширилась: великого князя владимирского Всеволода Юрьевича «имени токмо трепетаху вся страны, и по всеи земли изиде слух его» (436, под 1112 г.; ср. то же о великом князе киевском Владимире Мономахе под 1125 г., 293—294). Но церковное начало в некрологическом цикле преобладало: выдающихся людей Руси летописцы сравнивали с библейскими героями, чаще всего с Соломоном.

Оба формировавшихся цикла — трагически-воинский и торжественно-похвальный — не пересекались в «Лаврентьевской летописи», но отражали два почти противоположных настроения летописцев.

Рассмотрим третий «цикл» — довольно часто повторяющиеся рассказы о небесных знамениях. Как ни странно, этот цикл фра-

зеологически наиболее зыбкий. Повторы фраз здесь редки (например, пояснение о том, что «знаменья сиця на зло бывають» под 1065 г. было переписано и под 1203 г., ср. 165 и 419; а упоминание о молении людей, «дабы Богъ обратилъ знаменья си на добро», под 1102 г. было повторено под 1206 г., ср. 276 и 428). Похожие выражения (типа «бысть знаменье в солнци… мало ся его оста, акы месяць бысть» или «бысть видети всем людем») всячески варьировались, выдавая преимущественную ориентацию летописцев не на формулы и не на повествовательные образцы, а на детали, относительно разнообразные: летописцы с тревогой отмечали на небе новоявленные формы в виде месяца разной узости, круги, дуги с рогами и пр.: фиксировали световые и цветовые явления на небе же — от мрака до раскаленных углей, от кровавого цвета до зеленого и пр.; даже вдруг угадывались одиночные призрачные предметы, висящие в небе, — копье, змей, коврига, хвост, столпы.

Подобный пестрый прото-цикл стал все же формироваться благодаря необычным астрономическим явлениям, которые вызывали у людей, включая летописцев, целую гряду специфических чувств, — от озадаченности и удивления до страха и даже ужаса («страшно бе видети»). Этот откровенно зловещий «цикл» отражал еще одно настроение летописцев в «Лаврентьевской летописи».

Однако почему же допускалась постоянная экспрессивность повествования как в намечавшихся летописных циклах, так и в летописи вообще? Ответ наш на подобный вопрос, конечно, ясен: эмоции летописцев. Опора летописцев на устные речи (что установил Д. С. Лихачев) помогла летописцам выразить свою эмоциональную настроенность. Недаром в «Лаврентьевской летописи» повествование о событиях постоянно мыслилось летописцами как произносимый рассказ («рекохомъ», «скажемъ», «глаголемъ», «предреченая») и как передача устного рассказа других лиц («слышахом», «словеса слышах»). Только в случаях, если летописцы упоминали документы, книги, произведения, то они говорили уже о написании («вписах в летописаньи семь», «написах книгы си», «написахомъ на харатьи сеи»). «Лаврентьевская летопись» (то есть свод 1305 г.) — произведение эмоциональное, даже сдержанно-страстное.

Теперь скажем о четвертом виде летописных циклов, которые, в сущности, являлись уже не циклами, а сериями рассказов о каком-либо конкретном герое или событии с повторяющимися сходными сквозными мотивами.

Рассмотрим набор «сериалов» о князьях в «Повести временных лет». В первую такую серию выделились рассказы об Олеге (с 879 г.

по 912 г.), хотя серию слабенькую. Рассказы об Олеге перебивались в середине «сериала» другими темами (перебивки под 887—902 гг.). Связывал рассказы об Олеге лишь один скудный мотив, — перечни племен, подчинявшихся Олегу: «Поиде Олегъ, поимъ воя многи, — варяги, чюдь, словени, мерю и все кривичи» (22—23, под 882 г.); «и бе обладая Олегъ поляны, и деревляны, и северяны, и радимичи» (24, под 885 г.); «иде Олегъ на грекы … поя же множество варяг, и словенъ, и чюдь, и словене, и кривичи, и мерю, и деревляны, и радимичи, и поляны, и северо, и вятичи, и хорваты, и дулебы, и тиверци» (29, под 907 г.). Так летописец подчеркнул военную силу Олега (недаром летописец упомянул и цифры: при нападении на греков в 866 г. у Аскольда и Дира поплыли 200 кораблей, а у Олега через 40 лет — в десять раз больше, — 2000). «Сериал» об Олеге лишь ненамеренно стал зарождаться у летописцев в «Повести временных лет» (в «Древнейшем своде» и в «Начальном своде» его и подавно не было).

Далее еще один малозаметный «сериал» просматривается в рассказах о княгине Ольге и тоже на основе лишь одного неотчетливого и все же повторяющегося мотива властности Ольги. Она никогда не просит, но всегда приказывает: деревлянам — «да глаголите, что ради придосте семо», «ныне идете в лодью свою», «пришлите мужа нарочиты», «измывшеся, придите ко мне», «да пристроите меды многи» (55—57, под 946 г.). Один единственный раз Ольга вроде бы просит деревлян: «мало у всехъ прошю, — дайте ми от двора по 3 голуби да по три воробьи» (59, под 946 г.), — однако, как известно, эта просьба была издевательской и на самом деле являлась требованием полной капитуляции деревлян. Ольга повелевала даже византийскому цесарю: «крести мя самъ. Аще ли, то не крещюся» (61, под 955 г.).

Мотив властности Ольги выражался также в необычайно частом упоминании ее повелений: «Ольга же повеле ископати яму велику и глубоку», «повеле засыпати», «повеле Ольга мовь створити», «повеле … съсути могилу велику … повеле трызну творити … повеле … служити … повеле … пити … повеле … сечи», «повеле … привязывати … повеле … пустити … повеле … имати» (56—59); и еще: «заповедала Ольга не творити трызны над собою» (68, под 969 г.).

Что у Олега, что у Ольги летописец держал в центре внимания только какую-нибудь одну их главную черту. Эта княжеская черта могла быть не только положительной, но и отрицательной. Так, нежелание Святослава пребывать в Киеве и вообще в Руси выразилось в серии настойчивых упоминаний болгарского города Переяславца, столь любимого Святославом в ущерб Русской земле: «седе княжа ту въ Переяславци»; «Святославъ бяше в Переяславци», «рече Свято-

славъ…: “не любо ми есть в Киеве быти, хочю жити в Переяславци”»; «иде Святославъ Переяславьцю»; «приде Святославъ в Переяславець»; «възратися в Переяславець» (65, 67, 69, 71, под 967—971 гг.). Эти простейшие повторы, как нам кажется, не были чисто фактографическими, — недаром летописец процитировал жесткий укор киевлян Святославу: «ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а своея ся охабивъ» (67, под 968 г.).

Главные «серийные» черты четко отличали князей друг от друга. Например, в рассказах о Владимире Святославовиче выделялась совсем другая черта, чем у предыдущих князей, — небывалая склонность к соборности. Владимир любил собирать людей; вот примеры без комментариев: «приде Володимиръ съ варяги» (75, под 980 г.); у Владимира было 5 жен, 12 сыновей и 800 наложниц; «созва Володимеръ боляры своя и старци градьские», «созва князь боляры своя и старца» (106, 108, под 987 г.); «Володимеръ же посемъ поемъ … попы корсуньски … приде Киеву» и собрал всех киевлян поголовно — «на реце … бе-щисла людии» (116—117, под 988 г.); «нача поимати у нарочитое чади дети и даяти нача на ученье» (118, под 988 г.); «нача ставити городы … поча нарубати муже лучьшие … и от сихъ насели грады» (121, под 988 г.); «наруби въ не от инехъ городовъ и много людии сведе во нь» (122, под 991 г.); «съзываше боляры своя, и посадникы, и стареишины по всем градомъ, и люди многы … съзывая бещисленое множство народа … и тако по вся лета творяше» (125, под 996 г.) и т. д.

И тут тоже все эти сообщения о созывах людей имели не только фактографический, но и моральный смысл. Летописец так показал демократичность князя, который любил советоваться («бе бо Володимеръ любя дружину и с ними думая» — 126, под 996 г.) и прислушивался к чужому мнению («да что ума придасте?» — 107, под 987 г.).

«Серийная» черта князя могла не совпадать с важнейшим содержанием рассказов о князе. К примеру, Ярослав Владимирович, судя по объему самой большой статьи в нем под 1037 г., ценился прежде всего как книжно-религиозный деятель, а «серийной» явилась черта военная: «събра Ярославъ варягъ тысячю, а прочих вои 40 000, и поиде на Святополка» (141, под 1015 г.); «Ярославъ же, совокупивъ русь, и варягы, и словене, поиде противу Болеславу и Святополку» (142—143, под 1018 г.); «Ярославъ совокупи воя многы и приде Кыеву» (149, под 1026 г.); «Ярославъ Белзы взялъ… Иде Ярославъ на чюдь» (149, под 1030 г.); «Ярославъ и Мьстиславъ собраста вои многъ, идоста на ляхы» (150, под 1031 г.); «Ярославъ събра вои многы — варягы и словени — приде Кыеву» (151, под 1036 г.); «Яро-

славъ иде на ятвягы … Ярославъ иде на литву… Иде Ярославъ на мазовъшаны» (153, под 1038, 1040, 1041 гг.); «Ярославъ иде на мазовшаны» (155, под 1047 г.) и т. д.

Эти факты создавали воинский фон, благодаря которому Ярослав причислялся к князям, «землю отець своихъ и дедъ своихъ иже налезоша трудомъ своимь великымъ» (161, под 1054 г.).

«Сериалы» летописных рассказов о князьях все-таки не превратились у летописцев в отчетливую традицию, особенно когда речь шла о князьях плохих или неудачливых. Поэтому отсутствовала «серийная» черта в рассказах под 913—945 гг. у жадного князя Игоря Рюриковича, а рассказы под 1054—1078 гг. об Изяславе Ярославовиче так сильно перебивались другими материалами, что и «сериала» не было видно, тем более что несчастный Изяслав чаще всего безлико упоминался вместе с братьями. В еще большей мере это касается рассказов под 1078—1093 гг. о болезненном князе Всеволоде Ярославовиче.

Видимо, была и другая причина затухания «сериалов» в «Повести временных лет». Генеральные мотивы связывали в «сериалы» только рассказы о древнейших князьях, о которых, возможно, дошли до летописцев некие циклы устных легенд. А о современниках «Повести временных лет» такие циклы еще не сложились. Оттого рассказы под 1093—1107 гг. о Святополке Изяславовиче и о Владимире Всеволодовиче Мономахе не проявили даже тенденции к серийности. Характерно, что рассказы о Владимире Мономахе продолжились во «Владимиро-Суздальской летописи», но тоже без каких-либо признаков серийности как о Мономахе, так и о всех последующих князьях.

Теперь рассмотрим прото-циклы «Лаврентьевской летописи» на фоне других современных ей летописей.

В **«Новгородской первой летописи»** старшего извода (по Синодальному списку) циклы фразеологически связанных рассказов отсутствовали из-за преобладавшей краткости и фактографичности летописных статей. Но наблюдается одно исключение, — сравнительно подробные описания голода и мора в Новгороде. Правда, таких описаний всего лишь четыре: под 1128, 1161, 1215 и 1230 гг. Однако отличаются они многочисленными сходствами деталей, выражений и сходной последовательностью повествования.

Просто перечислим: начинаются эти описания обычно с упоминания о произошедшем «зле» или «казни»; затем говорится о дороговизне продуктов, особенно ржи; далее сообщается о голоде, во время которого люди ели мох, липовый лист, кору и пр.; повествуется о том, что родители отдавали своих детей на сторону, чтобы спасти от голодной смерти; рассказывается о всюду лежащих трупах; в конце

описания летописцы сетовали на запустение земли и объясняли несчастье Божьим наказанием за грехи.

В чем причина появления столь четкого «морового» внутрилетописного прото-цикла, хоть и небольшого? Описания мора были проникнуты особенно резким горестным чувством летописцев: «Туга-беда на всехъ» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950. С. 22, под 1128 г.); «о, велика скърбь бяше въ людехъ» (31, под 1161 г.); «о, горе тъгда, братье, бяше… О, горе бяше» (54, под 1215 г.); «что бо рещи или что глаголати… бяше туга и печаль, на уличи скърбь другъ с другомъ, дома тъска… Се же горе бысть…» (70—71, под 1230 г.). Острота чувства, возможно, способствовала подробности рассказа и побудила летописцев отбирать и повторять самые «отчаянные» детали.

В прочих случаях живые эмоции летописцев обычно были поумеренней, побуждали к подробностям, но не приводили к фразеологической цикличности рассказов (об усобицах, битвах, пожарах). В кратких сообщениях летописцы и вообще отделывались единичными типовыми формулами о чувствах (страшно при затмениях, радостно при приезде князя и пр.), но то были повторы однообразных фраз, а не циклы рассказов. Голодомор являлся трагической особенностью новгородской земли и «оттянул» на себя главные чувства новгородских летописцев, тем более что с массовыми жертвами голода и болезней не шли ни в какое сравнение гораздо меньшие потери военные.

«Новгородская первая летопись» отличалась от более гармоничной «Лаврентьевской летописи» эмоциональной неравномерностью повествования и оттого меньшей литературной цельностью.

О другой летописи — **«Киевской»** (по Ипатьевскому списку) — скажем тоже относительно кратко ввиду отсутствия в ней циклов рассказов. Даже некрологи князьям не образовали циклов. В летописном повествовании повторялись только отдельные формулы, что хорошо показал И. П. Еремин (Киевская летопись как памятник литературы. М.; Л., 1949). Но нечто похожее на циклы пусть не рассказов, но эпизодов, все же встречается в летописи при упоминании княжеских «обедов» (под 1148, 1149, 1150, 1160, 1168, 1195 гг.). Эти эпизоды излагались одинаково: князь позвал другого князя на обед; на обеде князья «пребывше у весельи и у любви»; обменялись подарками, чествуя друг друга; и разъехались «у свояси». То был своеобразный торжественный рефрен в летописи. А упоминания о том, что князья «пребыша у велице весельи и у велице любви», часто повторялись и по иным поводам, кроме обеда (встречи князей, примирения и пр.). На фоне непрерывных войн и междукняжеских усобиц летописцы

очень ценили и пропагандировали мир и братолюбие и оттого бесконечно ссылались на целование креста персонажами.

Все же подробнее стоит рассказать о возможностях циклообразования во многочисленных воинских рассказах «Киевской летописи». Цикла здесь нет; все воинские рассказы связаны, так сказать, «на живую нитку», в слабую цепочку, традиционными формулами и особенно часто повторяющейся деталью, — упоминаниями о «стоянии» войск. Летописцы обязательно указывали, где остановились полки (у города, у села, на поле, на лугу, у леса, у реки, на броду, на горах, «во снегу» и т. д. и т. п.), и почему остановились (на обед, на ночь, «в товары», ожидая кого-то и пр.), и сколько стояли (3 дня, 4 дня, 10 дней, 2 недели, 6 недель, 50 дней, «все лето», «долго веремя»), и как стояли перед противником (например: «и тако сташа полци межи собою, зряще на ся» — ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 466, под 1153 г.).

Объяснить эту устойчиво повторяющуюся деталь можно тогдашней воинской тактикой. Ведь такие остановки были привычны для военачальников, и они о том договаривались постоянно («где я стану, ту же и ты стани»; «брате, где ми велиши стати»; «что стоиши, княже, не поеда прочь» — 449, 512, 527, под 1152, 1161, 1167 гг.).

Летописцы тоже относились к подобным остановкам и «стояниям» как к должному, никак не комментируя их. Такое представление об обязательном «стоянии» летописцы переносили и на прошлое, на времена Владимира Мономаха: «Володимиръ самъ собою *постоя* на Дону и много пота утеръ за землю Рускую» (303, под 1140 г.). Между тем ранее в той же «Киевской летописи» нигде не говорилось о том, чтобы Владимир Мономах где-нибудь «постоял».

Чрезвычайно частые же упоминания «стояний» появились в летописи оттого, что летописцы старались очень подробно, досконально, рассказать о походах русских князей. В результате, создавали впечатление медлительного развития событий перед сражениями («стоимы сде, — чего достоимы сде?» — 425, под 1151 г.). Поэтому летописцы крайне редко, лишь в единичных случаях отмечали передвижение персонажей «вборзе» (а чаще наоборот: «поиде *потиха*, ожидая брата своего … и ста» — 357, под 1147 г.).

Но где-то с 1170-х годов в воинских рассказах «Киевской летописи» происходит перелом. О «стоянии» русских князей почти не упоминается, зато князья сплошь и рядом стали действовать «вборзе» («поехаша вборзе», «поиде поспешая», «наборзе устремившеся на них» и пр. — 539, 631, 691, под 1170, 1183, 1195 гг.). Редкие случаи стояния теперь все равно кончались «борзостью» («ждавъ многы дни

… поиде вборзе» — 619—620, под 1180 г.). Персонажи требовали быстроты («поеди ко мне в борзе» — 671, под 1190 г.). Отсутствие «борзости» теперь приходилось чем-то оправдывать («князем же рускимъ не лзя бо ехати по них уже борзо: сполонился бяшеть Днепръ, бе бо весна» — 652, под 1187 г.).

И напротив, половцы предстали останавливающимися и медлящими в летописи, начиная с 1180 г. Они не то что стоят, но — лежат: «лежахуть без боязни, надеючеся на силу свою» (622, под 1180 г.); «а половци восе лежать» (654, под 1187 г.); «половци … лежать … по сей стороне Днепра» (677, под 1193 г.) и др.

Идейно-фразеологическая перемена в последней части «Киевской летописи», помимо военных обстоятельств, которые еще надо исследовать, могла произойти, возможно, и под влиянием предполагаемой семейной хроники Ростиславичей (великого князя киевского Ростислава Мстиславовича и его сыновей и внуков) за 1170—1190-ые годы.

Перемена не была абсолютно резкой. Показательна, например, широко известная летописная статья под 1185 г. о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославовича, дальнего родственника Ростиславичей, на половцев. Старое и новое здесь сочетались. Русские по-старому медлят («и тако идяхуть тихо, сбираюче дружину свою» — 638), но теперь их уже торопят («да или поедете борзо, или возворотися домовь» — 639). Но и половцы, соответственно новой тенденции, тоже уже стоят («половци стоять на Хороле», «Кончакъ же стоялъ у лузе» — 635, 636, под 1184 г.; «стояхуть на онои стороне рекы», «силы половецькии, которие же далече рекы стояхуть» — 639, 640, под 1185 г.).

В общем, воинские рассказы «Киевской летописи» оказались повествовательно разнотипными, к тому же слабо связанными друг с другом, — каждый рассказ, пожалуй, составлялся без оглядки на предыдущие рассказы, и все они вкупе образовывали в лучшем случае нечто вроде сборника.

В заключение, остановимся на **«Галицко-Волынской летописи»** как литературном целом, а не в текстологическом ее делении на части. Военные эпизоды «Галицко-Волынской летописи», как и в «Киевской летописи», связаны традиционными воинскими формулами. Относительно новым явилось постоянное внимание галицких летописцев к взятию и величине «полона», — наверное, в духе корыстного XIII в., несмотря на рыцарственность воинских рассказов.

Однако самым интересным связующим звеном в летописи стали необычно частые упоминания чувств летописных персонажей, — буквально в каждой пространной статье. Эти упоминания, как правило,

были трагичны: плакали, скорбели и «сожалели» не только об умерших, погибших или пострадавших (например: «беспрестанно плакашеся… слезы от себе изливающи, аки воду… вопиюще» — ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. М., 1981. С. 408, под 1288 г.); горевали и досадовали от поражений, разорений и иных неудач («сжалиси о срамоте своей» — 248, под 1212 г.; «и бысть плачь обиде его» — 314, под 1250 г.; «тужаху и плеваху» — 340, под 1258 г.; «еще бо ему не сошла оскомина Телебужиной рати» — 418, под 1289 г. и мн. др.); а еще пеняли за неуместную черствость («чему о насъ не сожалитеси?» — 270, под 1229 г.).

На этом печальном фоне радость или веселие персонажей упоминались очень редко (типа «в пиру веселящюся»; «прияша и́ с радостью»; «и ради быша вси людье» — 276, 358, 390, под 1230, 1263, 1287 гг.).

Зато трагичность добавляли обильные и — главное — разнообразные упоминания о боязни и страхе персонажей, как русских, так и не русских: «смятеся умомъ» (264, под 1226); «бе бо ему боязнь велика во сердци его» (268, под 1228 г.); «страхъ имъ бысть от Бога» (276, под 1230 г.); «вложи Богъ страхъ во сердце ихъ» (336, 338, под 1256 г.); «видя беду страшну и грозну» (312, под 1250 г.). Ужас: «ужасъ бысть в нихъ» (340, под 1258 г.); «страхъ обья вся человекы и ужасть» (360, под 1264 г.). Летописцы даже рисовали сочные картинки испуга персонажей: «малодушна блюдящася о преданьи града, изиидоста слезнами очима и ослабленомь лицемь, и лижюща уста своя … и реста с нужею» (288, под 1235 г.). Персонажи с переменным успехом призывали своих людей не бояться врагов: «страшливу душю имате… Ныне же почто смущаетеся?» (284, под 1234 г.); «да не внидеть ужасъ во сердце ваше» (332, под 1255 г.). Редко когда летописцы восхищались непреклонной мужественностью отдельных персонажей (например: «придоста с тихостью на брань. Сердце же ею крепко бе на брань и устремлено на брань» — 308, под 1249 г. Прямо-таки стихотворные строки!).

Причина этого неизбывного трагического мотива в «Галицко-Волынской летописи», конечно же, заключалась в коварной татарщине и в крайне усложнившихся отношениях между русскими князьями. Недаром летописцы с необычной частотой порицали «лесть», обман и лживость, присущую врагам Руси и царившую в самом русском обществе: персонажи «имеяху бо лесть во сердце своемь» (230, под 1202 г.); «льстивъ глаголъ имеют» (286, под 1234 г.); «речи ихъ … полны суть льсти» (300, под 1240 г.); «злобы бо ихъ и льсти несть конца» (314, под 1250 г.) и т. д. и т. п. Сначала русские и иные персо-

нажи не разбирались в хитроумии татар: «Не ведающим же руси льсти ихъ… Их же прельстивше, и последи же льстию погубиша. Иные же страны … наипаче лестию погубиша» (260, под 1224 г.). Потом персонажи стали повсеместно недоверчивы к врагам и недругам, своевременно «усмотревъ лесть ихъ» (422, под 1291 г. и мн. др.).

Отношения между князьями были отвратительны. Их снедали гордыня, зависть, вражда, ненависть, злоба, гнев («гордость имеющим во сердци своемь» — 306, под 1246 г.; «гордяся своимъ безумьем» (380, под 1282 г.); «исполнившимся зависти и льсти … возьярившимся на нь» — 332, под 1255 г.; «вражду имеяше» — 260, под 1224 г.; «на престааше о злобе своей» — 302, под 1241 г.; «вложи дьяволъ ненависть» (376, под 1281 г.; «гневахуся вси князи … вси гневахуться» — 368, под 1274 г. и т. д.).

Правда, летописцы частенько упоминали и о «любви» между князьями или между князем и горожанами: но то была дипломатическая «любовь», обозначавшая мирные отношения, — желаемые или установившиеся на какое-то время: «клялася бо беста … любовь имети» (238, под 1203 г.); «хотя имети с ним любовь» (294, под 1238 г.); «прияста и́ с любовью» (282, под 1232 г.); «любляхуть же и́ гражане» (288, под 1235 г.). При этом летописцы сетовали и на отсутствие любви: «не любящим» (240, под 1204 г.); «не живяше с нимъ в любви, но воевашеться с нимь… забывъ любви…» (358, под 1274 г.).

В сознательности внимания летописцев именно к этим трагическим или отрицательным чертам современности убеждает, в частности, некрологическая похвала волынскому князю Владимиру Васильковичу под 1288 г., где эти черты перечислены в соответствующем положительном контексте: «Сий же благоверный князь Володимерь … кротокъ, смиренъ, незлобивъ, правдивъ … не лживъ … любь же имеяше ко всимъ, паче же и ко братьи своей … мужьство и умь в немь живяше, правда же и истина с нимь ходяста … гордости же в немь не бяше… и воздыхание от сердца износя и слезы от очью испущаше…» (408, 410).

Есть у «Галицко-Волынской летописи» еще одна примечательная особенность: летописцы не просто упоминали чувства персонажей, но доводили их до максимума. Печаль чаще всего была «великой»: «бысть в печали величе» (294, под 12386 г.); «печалуя … по велику» (356, под 1262 г.); «с великою жалостью» (298, под 1240 г.); «сжалиси велми» (346, под 1269 г.); «нача болми скорбети душею» (312, под 1250 г.); «с плачемь великимъ» (406, под 1288 г.) и мн. др.

Но и радость была «великой». Обычно летописцы отделывались формулой «радость бысть велика» или ее синтаксическими вариа-

циями. Только однажды летописец отступил от стандарта: персонаж «от радостии воскочивъ и воздевъ руце» (356, под 1262 г.). На радость летописцы реагировали скупее, чем на горе.

Кстати и «великая любовь» между персонажами в летописи также была формальной. Летописцы ее обозначали многократно повторяемой шаблонной фразой: «начаша быти в любви велице». При том не упускали случая отметить и великую нелюбовь: «не любовашеть велми» (358, под 1262 г.); «бысть межю има болше нелюбье» (386, под 1283 г.); «нелюбье бысть велико» (390, под 1287 г.).

Естественно, великими были и прочие отрицательные чувства у персонажей, — вражда, гнев, гордость, страх: «самъ хотяше всю землю одержати … с великою гордынею; едучю … гордящу, ни на землю смотрящю … видящю … гордость его, болшую вражду на нь воздвигнуста» (300, под 1240 г.); «великъ гневъ имея» (250, под 1213 г.); «бе бо ему боязнь велика во сердци его» (260, под 1228 г.); «стояше в ужасти величе» (350, под 1261 г.) и т. д. Даже сам летописец поражался: «пристраньно видити!» (272, под 1229 г.).

Традиционное в литературе преувеличение силы чувств тут сыграло какую-то роль. Но повсеместная густота преувеличений в летописи появилась, по-видимому, под влиянием представления летописцев о крайней напряженности окружающей действительности. Отсюда их известная характеристика своего времени: «Начнемь же сказати бещисленая рати, и великия труды, и частыя войны, и многия крамолы, и частая востания, и многия мятежи. Измлада бо не бы … покоя» (266, под 1227 г.). В характеристике под 1229 г. добавлено: «По семь скажем … великия льсти…» — 274).

В итоге, главным связующим фактором «Галицко-Волынской летописи» служило единство настроения летописцев, превратившее эту летопись в нечто вроде бесконечной саги; вернее, первоначальную сагу летописцы формально подчинили погодному изложению. После работ А. С. Орлова, Н. К. Гудзия, Д. С. Лихачева, В. Т. Пашуто, И. П. Еремина и других исследователей «саговость» «Галицко-Волынской летописи» представляется, пожалуй, несомненной.

Итак, прото-цикл — «сериал» — сборник — «сага». Причина «размывания» внутрилетописных прото-циклов заключалась в том, что циклы рассказов или эпизодов в составе летописи относились к архаической литературной традиции. Недаром истинной цикличностью рассказов, следовавших сразу друг за другом и связанных тематическими, композиционными и фразеологическими повторами, отличались только очень старые произведения, переводные и оригинальные, — например, «Хождение Богородицы по мукам», подчерки-

вавшее повторами сердобольность Богородицы и бесконечность мук грешников; «Житие Феодосия Печерского» Нестора с параллелизмом поведения двух идеальных подвижников — Феодосия и Варлаама; «Хождение» игумена Даниила, однообразно очарованного сохранностью и благоустроенностью святых мест Палестины.

Подтверждают наше предположение также старые циклы иного вида, составленные не из рассказов внутри одного произведения, а из разных произведений. Особенно характерно «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона по списку середины XV в., неизвестно когда и кем объединенное с приписываемыми ему большой «Молитвой» и отнюдь не коротким «Исповеданием». Фразеологические переклички между этими тремя сочинениями настолько многочисленны, что не оставляют сомнений в образовании цикла, воспевавшего славу и спасительность христианства, человеколюбие и милостивость Бога и пр.

Упомянем также летописный рассказ О убьенньи Борисове» из «Повести временных лет» и анонимное «Сказание о Борисе и Глебе», фразеологически очень близкие. Правда, это, в нашем понимании, не цикл, так как оба произведения рассказывали об одном и том же событии и не были объединены в одной книге или сборнике. Продолжатель и повторитель летописной статьи анонимный автор «Сказания» (придерживаемся мнения С. А. Бугославского о связи данных памятников) положил лишь возможное начало циклу иного типа, существовавшему лишь в памяти книжника и выпячивавшему во многочисленных фразеологических повторах фактическую историю убийства названных князей. За таким «источниковедческим» циклом было будущее.

А пока цикличность уже не понадобилась. Знаменательно в этой связи, что помещенные в известном «Сильвестровском сборнике» середины XIV в. «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора и анонимное «Сказание о Борисе и Глебе» не воспринимались составителем как цикл, а, напротив, они остались фразеологически и в деталях настолько отличавшимися друг от друга, что создателей этих произведений можно заподозрить в намерении во взаимном стилистическом отталкивании, а составителя сборника — в равнодушии литературной циклизации старого типа.

На основе сделанных наблюдений можно также предположить, что для древнейших книжников важны были не произведения как самостоятельное явление, а массивы сочинений, разрабатывавшие и продолжавшие те или иные темы до бесконечности в форме книг, сборников, писаний сложного состава. «Массивность»

древнерусской литературы надо исследовать специально. Ведь Д. С. Лихачев неоднократно говорил об «ансамблевом» и «анфиладном» характере литературы Древней Руси.

6. Из истории литературных циклов в XVI—XVII вв. («Казанская история», «Летописная книжица», «Житие» Аввакума)

«Казанская история» как «сладостный» цикл

Вся «Казанская история» представляет собой единый сплошной цикл рассказов («повестей», как их называет автор), разделенных на 101 главу и объединенных не только одной животрепещущей темой, но и сквозными мотивами, преимущественно трагическими и нередко гиперболично выраженными.

Самый главный и частый — это настойчиво повторяющийся мотив горя, плача, скорби, печали персонажей, как татарских, так и русских. Приведем только некоторые примеры из великого множества. Так например, Иван Грозный «зря плач, и рыдание, и погибель людей своихъ, люте печалуяся о них, яко оружиемъ уязвляшеся, и утробою мятяшеся, и сердцемъ боляше, стоняше … слезами своими постелю свою омакаше» (ПЛДР: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985. С. 370); в походе на Казань царь «не престанно же самъ о землю пометашеся, и главою бияшеся, и в перси свои часто руками ударяше, и захлепашеся, и слезами ся обливашеся» (508). Супруга Ивана Грозного Анастасия Романовна не отставала от царя в горестных проявлениях: «нестерпимою скорбию уязвися … и не може от великия печали стояти, и хотяше пасти на землю, аще не бы сам царь супружницу свою рукама своима поддержалъ; и на мног часъ она безгласна бывши, и восплакася горце» и пр. (452). Вся Русь горевала: «И бе скорбь велика в Руской земли, и велико стенание и рыдание, и везде произхождаше плач велегласен, и горек, и неутишим» (370).

Но особенно убивались казанцы, — мужчины и женщины, цари и царицы. Например, Сумбека Юсуповна (Сююн-Бике): «сверже златую утварь з главы своея, и раздра верхния ризы своя, и паде на землю … власы своя терзающе, и ноготми лице свое деруще, и в перси биюще, и воздвигше умилный глас свой, и плакаше, горко вопия» и т.д. и т.п. (414).

Все эти частые упоминания и пространные описания горя отражали не столько трагическую настроенность анонимного автора «Казанской истории», сколько его стремление к театральности, красоте сцен плачей, содержащих к тому же яркие сравнения и метафоры.

К той же зримой выразительности был склонен автор и при многочисленных описаниях других бурных чувств персонажей, — страха, гнева, радости (например: казанцы «от страха силнаго … омертвеша и падоша ницъ на землю … и быша, акы камыцы безгласни, друг на друга зряще, яко изумлени» и пр. — 514; Иван Грозный «воздвиже пламень ярости своея … яко левъ, рыкание страшно испусти» — 506; в честь взятия Казани в Москве «начаша молебная совершати… и у всех реки слез от очию на брады и на перси проливахуся и на землю течаху. Небо, и земля, и вся твари тогда … радующися со человеки» — 542; и мн. др.). О себе автор писал в том же красочном стиле («и како могу сказати и исписати… Страх бо мя побеждаетъ, и сердце ми горитъ, и плачъ смущаетъ, и сами слезы текутъ изо очию моею» — 364).

Как известно, автор «Казанской истории» (и возможный его редактор, как предположил А. С. Орлов) был очень начитан в древнерусской книжности. Но автор использовал литературные традиции для своей цели, — красиво повествовать о событиях. Оттого у автора все было красиво и у русских, и у татар. Красивы города. Особенно хвалил автор «предивную Казань»: «Казань … необычною красотою восия», «градъ Казань … хитръ строениемъ», «не обрестися другому такому месту … нигде же точному красотою» (300, 538, 392, 314). Упоминал автор и «о … красоте … града Москвы» (310). Вспомнился автору и град Владимир «со всеми его благими узорочьи … хитрыя его здания и красота его» (302). Новопостроенный Свияжск тоже был «град … красенъ … дивяшеся красоты его» (392). Девицы, женщины и дети обоих народов всегда были красивы, — «красныя отроковицы и жены доброличныя» (526). Царица Анастасия — «яко красная денница» (552). Сумбека: «бе бо образом царица та зело красна … яко не обретеся таковой красной в Казани в женах и в девицах, но и в руских во многих на Москве во дщерях и в женах болярских и княжых» (416). Одеты все были красиво, — и мирные, и ратные: «различно красуяся, другъ друга краснее» (332); «разное украшение их … красно нарядяся» (450). Вещи бли красивы: «кони во утварех … красных» (450); «колымаги … красныя» (422); «красныя ковры срацынския» (550); «красный … шатер … с различными узоры красными … мусиею исписано красно … прехитръ бе видением» (340). Даже убитых автор обозначал как прекрасных: «мнози от обою страну падоша, аки цветы прекраснии» (468). Слышались «гласы прекрасно поющих» (394). Персонажи, естественно, хотели, «да токмо живы были вси и красный свет видели» (520).

Почему автор так напирал на красоту мира и событий, даже ужасных? Потому, что он хотел, чтобы его повесть была красивой, о

чем и заявил с первых строк своего произведения: «Красныя убо и новыя повести сея достоит намъ радостно послушати, о христоимянитим людие» (300).

Больше того, автор хотел, чтобы его повесть была приятной для чтения и слушания, — «сладкой»: «внимайте разумно сладкия сия повести» (300). «Сладостность» же повести заключалась не только в красивости описаний, но и в ритмичности авторского повествования, регулярно возникающей на протяжении всей «Казанской истории» («ритмическую организацию» текста вскользь отметила Н. В. Трофимова).

И действительно, ритмичность возникала оттого, что автор писал преимущественно короткими фразами, а четко ритмичным изложение становилось в случае равенства ударных слов в соседних фразах и при параллелизме их структуры. Самыми употребительными были пары фраз, каждая из пяти ударных слов. Например:

бе́ бо ца́рь по премно́гу мя́ любя́,
и велмо́жи е́го паче ме́ры брегу́ще мя́ (302).

Или:

и обрати́ся боле́знь его́ на главу́ его́
и на ве́рхъ его́ сниде́ непра́вда его́

Не менее часто в повествование вкраплялись параллельные фразы из четырех ударных слов:

и распуди́т, я́ко во́лкъ о́вцы,
и прида́вит, я́ко мыше́й горноста́й,
и прие́стъ, аки́ ку́ры лиси́ца

Вряд ли автор на пальцах считал количество ударений во фразах, довольствуясь их относительной ритмичностью на слух. Поэтому в ритмическое изложение вкрадывались различные неправильности, а также неясности деления на фразы.

Но в некоторых случаях, особенно при описании красивых мест или роскошных вещей, поэтическая деятельность автора становилась вполне осознанной, что видно по величине ритмичных отрывков. Вот отрывок с четырьмя ударными словами в каждой фразе. Местность, где расположена Казань:

на се́й стране́ Ка́мы реки́,
конце́мъ прилежа́щи х Болга́рстей земли́,
а други́мъ конце́мъ к Вя́тке и къ Перми́,
зело́ пренарочи́то, и скотопа́жно, и пчели́сто
и вся́кими земляны́ми семяны́ роди́мо,
и овоща́ми преизоби́лно, и звери́сто, и ры́бно,
и вся́кого уго́дия жите́йскаго по́лно (314).

Или вот редкое ритмическое описание с тремя ударными словами в каждой фразе:

тереме́цъ стекля́ничной взде́ланъ,
све́телъ, а́ки фона́рь,
злаче́ными дска́ми покры́т,
в не́м же цари́ца седя́ше,
на все́ стра́ны ви́дя (410).

Возможно, автор был в состоянии писать целыми строфами с меняющимся ритмом:

и пои́де ца́рь, кня́зь вели́кий
чи́стымъ по́лемъ вели́ким х Каза́ни
и со мно́гими иноязы́чными слу́жащими ему́, —
с ру́сью, и с тата́ры, и с черка́сы, с мордво́ю,
и со фря́ги, и с не́мцы, и ля́хи, —
в си́ле вели́це и тя́жце зело́
тре́ми пути́ на колесни́цех и на ко́нех,
четве́ртым же путе́мъ — ре́ками в ло́дьях,
водя́ с собо́ю во́й
ши́ре Каза́нския земли́ (464).

Даже заголовок «Казанской истории» выглядит как строфа (2—3—2—3—2—3—2):

Сказа́ние въкра́тце
от нача́ла ца́рства Каза́нского
и о бра́нех и о побе́дахъ
вели́ких князе́й моско́вских
со цари́ каза́нскими,
и о взя́тие ца́рства Каза́ни,
еже но́во бы́сть (300).

Автор стремился к красивой «сладостности» своего повествования независимо от затрагиваемых тем и ценил сладкоречие других людей, прежде всего русского царя («сладокъ речию», «сладостная … словеса московского самодержца» — 360, 474) и русских и казанских вельмож («увещеваху … словесы сладкими» — 416).

Откуда у автора «Казанской истории» могла появиться столь необычная для древнерусской литературы почти что стихотворная манера исторического повествования? На влияние русского фольклора все это как-то не похоже. Рискнем выдвинуть одно предположение. Автор, по его признанию, провел 20 лет в казанском плену при казанском царе Сафа-Гирее и «часто и прилежно» расспрашивал «мудръствующих честнеишихъ казанцев» и слышал «слово изо устъ от царя … и отъ велмож его» об истории Казани и Руси (302). Это «слово» могло оказаться поэтическим, как было принято на Восто-

ке. В связи с этим хорошо бы сопоставить с «Казанской историей» поэзию казанского поэта М. Х. Мухаммадьяра, смотрителя усыпальницы хана Мухаммад-Амина, а также поэзию Кулшерифа, главы мусульманского духовенства Казани. Оба «вельможи» погибли при взятии Казани в 1552 г.

Как бы то ни было, «Казанская история» родилась как невиданный спаянный «сладостный» литературный цикл, полупоэма на историческую тему.

Встает вопрос: почему только через десять с лишних лет после взятия Казани понадобилось так искусно воспевать это событие? Одно из возможных объяснений: именно в 1560-х годах в Москве стала формироваться официальная, даже, может быть, придворная литература, направленная и на просветительство народа в нужном духе. Автор «Казанской истории», побывавший казанским придворным, по-своему попытался участвовать в этом процессе и, пожалуй, оказался предтечей придворного поэта XVII в. Симеона Полоцкого, его «сладостных» стихотворных циклов и пьес. Но между автором «Казанской истории» и Симеоном Полоцким зияло больше сотни лет, так как процесс формирования придворной литературы был прерван опричниной, кризисом царской власти и Смутой.

«Летописная книжица»: украшенный цикл

Это любопытное произведение внимательно исследовало немало ученых (особенно С. Ф. Платонов, А. С. Орлов, Н. К. Гудзий, О. А. Державина, а в последнее время И.Ю. Серова), которые приписывали «Летописную книжицу» разным авторам, но, кажется, остановились на С. И. Шаховском и на 1626 г. как времени создания произведения. Мы же займемся более поздней Краткой редакцией произведения, подправленного неведомо кем в конце 1620-х годов (этим временем датируется самый ранний из списков Краткой редакции) и превратившегося в отчетливый литературный цикл.

Краткая редакция «Летописной книжицы» делится на девять разделов, разных по величине: 1) начальное изложение, без заголовка: «Царство Московское, его ж именуют от давних векъ Великая Росия…» — 358; 2) «Повесть сказуема о томъ прозванномъ царевиче Дмитрее» — 366; 3) «Укоры и поносы оному проклятому Ростриге…» — 376; 4) продолжение «Повести сказуемой», без заголовка: «Оставимъ ж сия и возвратимся на первая» — 378; 5) горестные восклицания и вопрошания: «Оле, великое падение бысть и убийство!…» — 408; 6) продолжение «Повести сказуемой», без заголовка: «И тако разрушенна бысть превеликая Москва…» — 410; 7) «Напи-

сание вкратце о царех московских и о образехъ ихъ…» — 422; 8) стихотворное «Двоестрочие» — 424; 9) автор о себе, без заголовка: «Изложена бысть сия книжица летописная … Семеном Шеховскимъ…» — 426 (ПЛДР: Конец XVI — начало XVII веков / Текст памятника подгот. е. И. Дергачева-Скоп. М., 1987).

Основу «Летописной книжицы» составила «Повесть сказуема», что и засвидетельствовано в виршевом «Двоестрочии»:

Изложена бысть сия летописная книга
О похождении чюдовского мниха (424).

Вся «Повесть сказуема» составлена из эпизодов, обычно отделяемых друг от друга обозначениями последовательности событий («и посемъ», «и потом», «в то жъ время», «помалу ж», «малу ж времени минувшу» «последи же», «во един жь день», «в десятый же день» и т. п.), в том числе описаниями наступившего времени суток или времени года («наутро», «уже зиме прошедши»). Кроме того, эпизоды нередко отделены бывают упоминаниями о слышании вестей («слышано бысть сия», «вниде же сие во уши») и просто при переходе к уже упомянутым персонажам («той ж преждереченный», «впредреченныи ж»).

Все эти разнообразные, но лаконичные вступительные фразы свидетельствуют о старании автора Краткой редакции составлять единый связный рассказ, а не резко членить текст на эпизоды.

Исследователи уже давно отметили склонность С. И. Шаховского к литературному украшательству своего труда, что сохранилось и в Краткой редакции «Летописной книжицы». Украшений, действительно, множество; однако они скромны и не очень заметны. Автор часто использовал лишь одиночные усиления, редко когда заполняющие всю фразу или весь эпизод; вот редкий пример: «составиша брань *велию зело*. И тако бысть брань по двою дню *непременно*, *много* падения бысть и убийство *великое*… ополчениемъ *жестоким* нападоша … *безчисленно* людей побивают» и т. д. (388).

Исключительно часто автор употреблял рифмованные фразы, как правило, только двустрочные, с глагольными рифмами, но с разным количеством слов в строке, — как получилось сказать. Только иногда вдруг составлялось что-то похожее на силлабическое стихотворение. Так, уже в начале можно обнаружить наборы из трех-, четырех- и пятисловных двустрочий:

и в канбаны тяжкия бити,
и молебныя гласы приносити (364);

во уши его ложное приношаху,
радостно того послушати желаху (362);

уклони мысль свою на крестьянъское убиение
и простре десницу свою на несытное грабление (360).

Реже всего употреблялись сочетания определений, притом всегда только двойные, не больше, — типа «тихо и безмятежно», «здраво и весело», «злохищный и прелестный», «скверно и нечисто» и т. п.

Цель автора состояла в придании лишь легкой выразительности своему книжному изложению, и то лишь местами, потому что главной заботой автора была связность всех рассказов в непрерывное целое с начала и до конца. Поэтому все произведение пронизывали сквозные повторы различных выражений («семо и овамо», «никако сего ужасеся», «воздвигоша гласы своя», «простре руку свою», «повеле войску своему препоясатися на брань … и спустиша брань велию зело», «кровавыи мечи» и пр.).

Характерно, что автор не вдавался в подробности многочисленных сражений, а заменял их одним и тем же штампом (типичный пример: «И дань плитъ жесточайше … падают трупия мертвых семо и овамо … усты меча гоня… И покрыся земля нощною тмою, и тако преста брань» — 370. Ср. 372, 386, 388, 390, 396, 402, 416). С. И. Шаховской, судя по его биографии, был хорошо знаком с военным делом. Однако в данном случае он, по-видимому, предпочитал «кратким словомъ рещи» (ср. 360, 386, 426) только о главной последовательности событий Смуты.

Краткая редакция «Летописной книжицы» тем более усилила эту тенденцию к осмыслению именно общей истории Смутного времени в целом и превратилась в слитный нарядный литературный цикл, в своего рода праздничный стенд, посвященный прошедшим событиям, — ведь исторический труд в то время не мыслился без традиционных экспрессивных украшений.

Заметки о циклах в «Житии» протопопа Аввакума и в «Пустозерском сборнике»

После почти столетней череды работ о литературном творчестве Аввакума (от исследований В. В. Виноградова, В. Е. Гусева, А. Н. Робинсона, Д. С. Лихачева, Н. С. Демковой, В. С. Румянцевой, В. В. Колесова, А. С. Елеонской, М. В. Плюхановой и до сравнительно недавних работ Д. С. Менделеевой и О. А. Туфановой) осталась возможность вносить лишь небольшие добавления в характеристику Аввакума как писателя.

Что интересного может дать изучение циклов рассказов в «Житии» Аввакума? В том, что «Житие» (берем редакцию А) было составлено именно из циклов, сомнений нет. Большинство своих рассказов Аввакум выделял специфическими вступительными выражениями («егда», «таже», «в то же время», «посем», «потом», «после того», «тут же» и пр.) и нравоучительными концовками, поминая и восхваляя Бога и Христа или проклиная «никониан». Эти рассказы Аввакум называл «повестями». Рассказы-«повести» Аввакум группировал на какую-нибудь тему, — то о затмениях солнца, то о преследованиях себя «начальниками», то о бедах в сибирской ссылке, то об исцелении «бешеных», то об уговорах его в Москве властями, то о казнях сторонников раскола и др. Рассказы внутри цикла связывались также сходными деталями и сходной, но варьирующейся фразеологией. Рассказы внутри цикла отделялись друг от друга и одиночными рассказами-отступлениями на иную тему.

Циклическая структура повествования видна уже с самого начала собственно «Жития», — например, в цикле из пяти рассказов об агрессивности Аввакумова окружения почти каждый рассказ имеет сравнительно четкие границы — начало и концовку: «А се по мале времени» — «а я молитву говорю в то время»; «таже … во ино время» — «благодать … да будет!»; «в то же время» — «так-то Бог строит своя люди»; «на первое возвратимся. Таже» — «и так-то Господь гордым противится, смиренным же дает благодать»; «после паки» — «везде от дьявола житья нет» (Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Текст «Жития» подгот. В. Е. Гусев. Иркутск, 1979. С. 24—26).

И главное, эти рассказы связывались в реальный цикл благодаря повторению сходных экспрессивных выражений: «начальник … воздвиг на мя бурю» — «дьявол и паки воздвиг на мя бурю»; «ин начальник … на мя рассвирепел» — «ин начальник на мя рассвирепел»; «велел меня бросить в Волгу» — «меня … бросили под избной угол»; «до смерти меня задавили» — «замертва убили»; «аз прибрел к Москве» — «аз же сволокся к Москве» и т. д.

Особенностью получившихся циклов в «Житии» была резкая неожиданность сюжетов внутри цикла, хотя рассказы Аввакум подбирал на одну общую тему. Так и в вышеприведенном цикле о нападениях на Аввакума: один начальник, по-видимому, насильник («у вдовы начальник отнял дочерь»); другой начальник — кусается, как пес; третий — сторонник «новизы» («велел благословить сына своего … бритобратца», имевшего «блудолюбный образ»); четвертый начальник — вдруг раскаивается и пр.

Не трудно убедиться, что прямых источников у Аввакума не было: в отличие от циклов в старых летописях циклы в «Житии» Аввакума разнообразны, а в отличие от циклов в традиционных житиях с чудесами рассказы Аввакума внутри цикла сюжетно неожиданны. Правда, начиная с XV в. эпизодически уже появлялись повести с сюжетно неожиданными эпизодами из жизни героя («Повесть о Дракуле», «Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о Горе-Злочастии»), но никакой непосредственной связи у Аввакума с этими повестями не было.

Главной причиной своеобразия Аввакума явилась небывало тесная близость к слушателям и читателям его «Жития», давно замеченная исследователями. Ведь писал Аввакум свое «Житие», в первую очередь, для своего соседа в пустозерской ссылке старца Епифания и для некоего «раба Христова», а также для хорошо знакомых ему сподвижников.

Добавим, что Аввакум явно старался, чтобы его читателям и слушателям не становилось скучно («аще не поскучите послушать, … и то возвещу вам» — 49), и потому регулярно сокращал изложение («аз кратко помянул»; «тово всево много говорить»; «много писано было»; «кое-что было»; «говорить о том полно» и т. п.), а также извинялся перед слушателями при необходимости продолжить повествование (например: «простите…, — еще вам… побеседую» — 67; «простите меня… а однако уже розвякался, — еще вам повесть скажу» — 72).

Каждый рассказ в цикле, как правило, был внутренне контрастен (склонность Аввакума к контрастам и противопоставлениям отметила Н. С. Демкова). Но все они, кажется, восходили к общей идее: течение жизни, по Аввакуму, неожиданно и непредвидимо (ср.: «что Бог даст, то и будет» — 43, редакция В; «то ведает Он, — воля Ево» — 56).

Но самое любопытное вот что: все циклы, все «Житие» пронизывали одинаковые сквозные словесные и фразеологические повторы. Укажем четыре самых частых экспрессивных мотива. Буквально все «Житие» «прошивает» мотив плача: от горя, от жалости или от раскаяния плачут и рыдают, «плачючи живут» почти все персонажи «Жития», даже некоторые «никониане», в том числе самые злобные. Плакали подолгу («часа с три плачючи» — 20; «часа с три плачет» — 57; «рыдав на мног час» — 68; «и ходит, и плачет, а с кем молыт … яко плачет» — 58; «плакать стала всегда» — 73; и пр.).

Другой сквозной мотив: персонажи «бредут» в прямом и в переносном смысле («побрели, амо же Бог наставит» — 24; «бредет-бредет, да и повалится» — 38; «и так далеко забрел» — 45; «бреду-таки впредь» — 56; и мн. др.).

Третий мотив: Аввакума все время «бросают» и «кидают» («в темницу … бросили» — 20; «на чепи кинули в темную полатку» — 28; «на беть кинули … кинули меня в лотку … в тюрьму кинули» — 32; «велел кинуть в студеную тюрьму» — 34; и т. д.)

Четвертый, патетически варьируемый мотив — смерть («отъиде к Богу … скончалися богоугодне» — 23; «скончались о Христе Исусе» — 58; «от земных на небесная взыде … пошел себе ко Владыке» — 62; «присвоит к себе жених небесный в чертог свой» — 54; «венец тернов на главу ему там возложили … и уморили» — 28; и т. п.).

За этими мотивами стояло у Аввакума ощущение «лютого времени», трагической обреченности «правоверных» (подробнее см. в монографии: Туфанова О. А. Творчество Аввакума: Поэтика трагического. М., 2007). Аввакум всех их жалел — все они у него «миленькие».

Но с точки зрения циклообразования «Житие» Аввакума превратилось, так сказать, в единый мега-цикл с развивающимся сюжетом, разносторонне содержательный, где нашлось место разным иным сквозным мотивам, — в том числе ободряющим и умиротворенным. Так, Аввакум постоянно обращался к теме людской «доброты»: «много добрых людей знаю» (57); «учинились добры до меня» (25); «каковы были добры!» (48); «и тогда мне делал добро» (29); «гораздо Еремей разумен и добр человек» (42); «доброй прикащик человек» (45); и др. Свои отчаянные рассказы Аввакум нередко завершал успокоительно: «на душе добро» (33); «да уж добро, — быть тому так» (63); «ей, добро так» (69); «ино и добро» (72).

Многолинейность рассказов «Жития» недаром навела некоторых исследователей (В. Е. Гусев, В. В. Кожинов) на сходство этого сочинения с романом. Однако цикличность как литературная форма получилась у Аввакума в известной степени еще неосознанно, и корни ее, наверное, надо искать в еще неисследованной манере устных повествований у старообрядцев того времени.

И вот что еще интересно: мегациклическое «Житие» Аввакума, в свою очередь, вошло в состав мини-цикла произведений в «Пустозерском сборнике», где вслед за «Житием» Аввакума (редакция В) следовали «Житие» Епифания» и комментарии Аввакума к библейской книге Бытие. Сочинения Аввакума и Епифания, несмотря на их несходство, все-таки связались в некий мини-цикл благодаря перекличке мотивов и выражений. Это особенно заметно в началах и концовках повествований об их жизни. Так, и Аввакум, и Епифаний начали свои сочинения с упоминаний о месте рождения, о родителях и их смерти, о переселении и о продолжи-

тельности церковной деятельности. Аввакум: «Рождение же мое … в селе Григорове. Отецъ ми…, мати… Потом мати моя овдовела… Посем мати моя отъиде к Богу… Аз же от изгнания преселихся во ино место» (Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания / Текст «Жития» Аввакума подгот. Н. С. Демкова. Л., 1975. С. 17—18). Епифаний: «Родился я в деревне. И как скончалися отецъ мой и мати моя, и азъ, грешный, идох во град некий … и идох … во святую обитель Соловецкую» (Там же / Текст «Жития» Епифания подгот. Н. Ф. Дробленкова. С. 81).

Затем о продолжительности церковной деятельности. Аввакум: «Рукоположен во дьяконы двадцети лет з годом; и по дву летех в попы поставлен; живыи въ попехъ осмь летъ … тому дватцеть летъ минуло, и всего тритцеть летъ, как священъство имею» (18). Епифаний: «…возложили на мя святый иноческий образ. И в том иноческом образе сподобил мя Бог быти… пять лет, и всего двенатьцать летъ былъ у нихъ» (81).

Сходны и окончания обоих «Житий». Аввакум: «Ну, старецъ, моево вяканья много веть ты слышалъ … напиши и ты … слушай ж, что говорю … а мы за чтущих и послушающихъ станемъ Бога молить» (80). Епифаний: «А я, грешной, долженъ о васъ молитися — о чтущих, и о слушающих, и о преписующих сие» (окончание первой части, 91); «ну, чадо мое … сказано тебе мое житие … и ты твори тако же. Да и всемъ то же говорю … чтущии и слышащии сия вся» (окончание второй части, 137—138).

Переклички иных тем с их фразеологией также связывают оба «Жития». Вот оба узника в темнице. Аввакум: «Таже осыпали нас землею» (59). Епифаний: «осыпаша в темницах землею» (131).

Очень похожи рассказы о снах. Аввакум: «Время ж яко полнощи… И падох на землю … и забыхся лежа … а очи сердечнии при реке Волге. Вижу… Юноша светелъ … отвещал… И я … рассуждаю… И что будетъ, плавание?» (18—19). Епифаний: «мнитъ ми ся в полунощи, возлегшу ми опочивати … и сведохся абие въ сон мал. И вижю … сердечными очима… старецъ Ефросин… Аз же … помышляя в себе… Что хощет быти се?… Преподобный же Ефросин светлым лицем … рече ми…» (118). В «Житии» Ефросина не раз повторяются аналогичные рассказы о снах с теми же вопросами: «Что се бысть?» (123); «что се хощет быти?» (127); «что се будет видение?» (133).

Наконец, мелкие соответствия можно найти в разных местах обоих «Житий». Например, о бесах. Аввакум: «единъ бесъ в хижу мою вошед … и исчезе» (71); Епифаний: «внидоша в келию ко мне два беса … и не весть камо ищезоша» (86). О бесноватых, — Авва-

кум: «Соблудилъ в велик день … да и взбесился. Жена ево сказывала» (65); Епифаний: «соблудил со женою своею… О сем сказа жена его последи. Бесъ же … до смерти удавилъ» (83). Моление к небу: «а я, на небо глядя, кричю: “Господи…”»; «и кричю: “Владычице…”» (Аввакум, 28, 32); «и начахъ вопити къ Богороице, зря на небо» (Епифаний, 85).

Как объяснить эти сходства? Вроде бы они указывают на зависимость Епифания от Аввакума. Ведь в «Житии» Епифания обнаруживаются параллели к разным редакциям «Жития» Аввакума. Так, только в редакции В у Аввакума находится рассказ со фразой: «А се согреяся сердце мое во мне, ринулся с места…» (74). У Епифания: «И возгореся сердце мое … и ударился три кона о землю» (129). Зато в редакции В нет, а в редакции А есть обращение Аввакума к единомышленникам: «Ну-тко, правоверне, … вот тебе царство небесное…» (65—66). Сходно у Епифания: «Ну, чадо. Вот тебе сказано…» (121).

Однако в общей массе сильно различающихся текстов «Житий» Аввакума и Епифания отмеченные сходства настолько мелки и немногочисленны, да и не похожи дословно, что вернее было бы предположить лишь небольшое взаимовлияние агиографов друг на друга и, скорее, преобладающее воздействие некоей устной повествовательной традиции у старообрядцев на обоих авторов, которые и писали-то свои сочинения, в сущности, одновременно. Эта традиция (ее надо изучать на более широком материале) была порождена потребностью изъясняться просто и понятно, о чем в «Пустозерском сборнике» признавались и Аввакум, и Епифаний. Аввакум специально оговаривал после своего «Жития» и комментариев к книге Бытия, которые служили образцами простого стиля: «не позазрите просторечию нашему … виршами филосовскими не обыкъ речи красить… Я и не брегу о красноречии» (112). Епифаний придерживался той же позиции: «не позазрите … простоте моей, понеже грамотикии и философии не учился… А что скажу вам просто, и вы … исъправте» (81), «ну, чадо, … не позазри простоте моей, понеж азъ грамотики и философии … не учился… И что обрящеши просто и неисъправлено, и ты собою исправъ» (114. То есть в отличие от Аввакума Епифаний все-таки не всецело был предан совсем простому стилю, — это и видно из его призывов «исправлять» написанное и из текста самого «Жития»).

В целом же, «Жития» Аввакума и Епифания в «Пустозерском сборнике» знаменовали появление циклов свободного типа, сознательно связанных в основном только тематически и идейно.

В общем, циклы в древнерусской литературе существовали всегда, но очень менялись социально.

Часть 3

СРЕДСТВА

7. «Опредмечивание» абстрактных понятий и поэтика превращений в древнерусских произведениях XI—XII вв.

Поиски столь ценимых нами образных явлений в древнерусских текстах приводят нас к любопытному факту, — к «опредмечиванию». Под «опредмечиванием» мы понимаем смысловое превращение абстрактного объекта в предметный объект, воображаемое автором произведения и выраженное в тексте при сочетании абстрактных или отвлеченных существительных с предметными глаголами (при условии, что предметный смысл глагола не заменился абстрактным). Подобные образные превращения — это не сравнения, не метафоры, не символы, а особое явление поэтики, мало изученное, на которое мы обратим внимание на примере тех памятников XI—XII вв., где этот феномен представлен наиболее обильно.

Главная наша задача — доказать, что образные превращения на уровне словосочетаний действительно существовали в поэтике древнерусских произведений.

«Слово о Законе и Благодати» Илариона

В «Слове о Законе и Благодати» много символики, и поэтому прежде всего скажем о различии смысла символического и смысла предметно-образного. Так, «Слово» свое Иларион завершил пожеланием князю Ярославу Мудрому: «пучину житиа преплути, и въ пристанищи небеснааго заветриа пристати, невредно корабль душевныи — веру — съхраньшу, и съ богатеством добрыими делы, безъ блазна же, Богомь даныа ему люди управивьшу, стати непостыдно пред престоломъ вседержителя Бога» (Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. 1 / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. С. 35). Приведенный отрывок имел у Илариона одновременно двойной смысл, — символический (обозначение качества объекта) и смысл образный (превращение абстракции в предмет). Символический смысл понятия «жизнь»: пучина — символ опасности земной жизни; тихое пристанище — символ жизни небесной; корабль — символ духовности человека; перевозимый богатый груз — символ

добрых дел и т.д. Общий иносказательный смысл отрывка: торжественно-риторическое пожелание Илариона князю жить благочестиво и после кончины быть принятым на небеса.

Предметно-образный же смысл этого отрывка был иным: жизнь человека превратилась в плавание и представлялась Илариону в виде картины благополучного путешествия корабля по морской пучине к безветреному порту с сохранением экипажа и богатого груза.

Объяснить оба смысла приведенного отрывка нетрудно. Символическое иносказание отразило риторический пафос проповедника, а предметно-образное превращение жизни в плавание появилось для придания яркости пожеланию Илариона.

Среди множества абстрактных понятий, использованных Иларионом в «Слове», более 30 понятий (а это немало) имели образные оттенки и превращались во что-то предметное. Чаще всего, в соответствии с главной темой «Слова», Иларион повторял понятия «благодать», «закон», «вера», и у каждого из этих понятий выделялся свой предметно-образный мотив. Благодать напоминала некое живое существо, «биографию» которого обозначил Иларион: благодать ожидала «времене сънити ми на землю»; затем на земле «родися благодать» как человек («сынъ») и понемногу росла («еще не у благодать укрепила бяаше, нъ дояшеся … егда же уже отдоися и укрепе, и явися благодать Божия всемъ человекомъ въ Иорданьстеи реце»); появились у благодати дети «(видевши ж свободьная благодеть чада своа христианыи»); и благодать с земли обращалась к Богу («възъпи къ Богу») (15—16).

Однако к созданию единого образа благодати Иларион вовсе не был расположен. Благодать у него то вдруг становилась водой или вином («и Христова благодать всю землю обятъ и, яко вода морьскаа, покры ю … дождь благодетныи оброси» — 18—19); «въливають … вина … благодетьна въ мехы» — 23); то благодать испускала сияние («лепо бо бе благодати … на новы люди въсиати» — 23); то благодать превращалась в солнце («человечьство … въ благодети пространо ходить … при благодетьнеим солнци» — 17). Разные образные мотивы Иларион находил от случаю к случаю с одной целью: подсобными элементами образности сделать ярким иносказательный смысл своей речи.

То же происходило при упоминаниях веры и закона.

Самым же распространенным предметно-образным мотивом у всей массы абстрактных понятий в «Слове» являлось их превращение в живительную жидкость («еуагельскыи же источникъ наводнився, и

всю землю покрывъ, и до насъ разлиася … вънезаапу потече источникъ еуагельскыи, напаая всю землю нашу» — 23—24; «пиемъ источьникъ нетлениа» — 25; «испи памяти будущая жизни сладкую чашу» — 29; «дождемь Божиа поспешениа распложено бысть» — 34; и пр.). Как это объяснить?

Иларион в своем «Слове», судя по «опредмечиванию» понятий, выразил оптимистическое ощущение всеобщего благополучия («възвеселятся и възрадуются языци» — 26). Поэтому понятия с отрицательным смыслом получили образные обозначения мертвящего зноя, сухости и гибели (например: «идольскому зною исушивъши» — 24; «законъное езеро прасеше» — 23; «оттрясе прахъ невериа» — 27). Соответственно свет побеждал тьму, жажда утолялась питьем, засуху прекращал дождь и т.п.

Представление о благополучии Руси Иларион выразил, также превратив положительные абстрактные понятия в обозначения свежей чистоты и ладной одежды и обуви (например: «правдою бе облеченъ, крепостию препоясанъ, истиною обутъ, съмысломъ венчанъ, и милостынею, яко гривною и утварью златою красуяся» — 34. Еще: «въ нетление облачить» — 19; «въ лепоту одеша» — 28—29). И напротив, отрицательное с себя снимали («съвлече же ся… и съ ризами ветъхааго человека съложи тленъна» — 27).

«Опредмечивание» абстрактных понятий Иларионом наверняка было связано с библейской и византийской литературной традицией; но отчего так густо такая образно-иносказательная манера изложения заполнила «Слово о Законе и Благодати»? На этот вопрос ответил сам Иларион, предупредив, что он повествует, очевидно, в новой для Руси, очень учено-философской манере, заставляющей думать, для интеллектуальной элиты, для подготовленных слушателей и читателей («ни къ неведущиимъ бо пищемъ, нъ преизлиха насыштьшемся сладости книжныа» — 14), однако ради ясности восприятия говорит, «опредмечивая» абстракции. «Слово о Законе и Благодати» Илариона свидетельствует о существовании, хоть и не самостоятельных и очень специфических, элементов образности с самого начала оригинальной (непереводной) древнерусской литературы.

«Сказание о Борисе и Глебе»

После «Слова о Законе и Благодати» прошло больше полувека, и обильное «опредмечивание» абстракций дало знать о себе в «Сказании о Борисе и Глебе», но «опредмечивание» абстрактных понятий,

обозначавших преимущественно настроения и чувства человека. Чаще всего, опять-таки в связи с главной темой этого произведения, анонимный автор «опредмечивал» печаль и тугу.

Вот, например, высказывание Бориса о печали: «къ кому сию горькую печаль простерети?» (Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 29). Главный смысл словосочетания «печаль простерети», разумеется, переносный (поделиться с кем-нибудь своим горем), но некоторый предметно-образный оттенок вносил глагол «*простерети*», который в книжности обычно ассоциировался с протягиванием рук: распространенность данной фразеологической ассоциации хорошо (репрезентативно) демонстрируют произведения конца XI — начала XII в., современные «Сказанию о Борисе и Глебе», — «Повесть временных лет», «Чтение о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского»; и др. (а также «Успенский сборник» в целом). Там этих примеров, особенно простирания рук, множество. Так что в словосочетании «печаль простерети» печаль скрыто и слабо мыслилась автором как объект, протягиваемый руками персонажа. Тем более что руки этого персонажа упоминались перед данной фразой: «своима рукама съпряталъ». Словосочетание «печаль простерети» у автора «Сказания» не являлось символом, но относилось к иной категории поэтики, — неявному превращению абстрактного понятия в предмет в момент высказывания: печаль на миг стала представляться материальной вещью или горьким веществом, протягиваемыми по направлению к кому-либо.

Нельзя исключить, что выражение «печаль простерети» возникло у автора по аналогии с традиционным выражением о возложении своей печали на Бога (ср.: «печаль свою на Бога възложь»; «вьсю печаль свою възвьрзи къ Богу» — Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 197, 101). Автора «Сказания» привлекла экспрессивность и яркость выражения «горькую печаль простерети» (сравнительно с нейтральными выражениями «поведать о печали», «сказать о печали»). Средством выразительности дополнительно служил пространственный оттенок (наряду с предметным оттенком) в высказывании «къ кому … печаль простерети: къ брату ли?» (ведь брат находился далеко, и Борис со свой печалью еще только шел к брату: «къ кому прибегну… Се да иду къ брату моему» — 29—30).

Второй случай «опредмечивания» печали в «Сказании» тоже относился к Борису: «И узъреста попинъ его и отрокъ, иже служааше ему, и видевъша господина своего дряхла и печалию *облияна* суща

зело» (34—35). Глаголы «облияти», «обливати», «разливати» традиционно ассоциировались с разлитием жидкости (ср. «Успенский сборник»: «водою облияти», «росою обливаше» — 241, 214), но чаще всего ассоциировались с разлитием слез (ср. в «Сказании» о Борисе же: «вьсь сльзами облиявъся», «сльзами разливаашеся вьсь» — 36, 31), а слезы ассоциировались с лицом (см. в «Сказании» о Борисе: «лице его вьсе сльзъ испълнися, и сльзами разливаяся»; о Глебе: «сльзами лице си умывая … вьсь сльзами разливаяся» — 29, 41). Так что выражение «печалию облиян» имело предметный оттенок у автора «Сказания», и печаль на миг превращалась в жидкость и ассоциировалась с лицом персонажа, облитым слезами. Ассоциация «печаль — льющиеся слезы» наверняка традиционная (ср. в «Успенском сборнике»: «излееве печаль очима» — 400). Выражение «печалию облияна суща зело» понадобилось автору тоже благодаря своей выразительности и экспрессивности (на фоне нейтральных выражений «печалитися», «быти в печали»).

Третий случай «опредмечивания» печали относился уже к «туге» Глеба: «туга състиже мя» (40; в других списках — «постиже»). Глаголы «състиже», «постиже» в данной ситуации обозначали «настичь кого-то или что-то кем-то» (ср. в «Успенском сборнике»: Феврония «ишедъ … и постигъши множьство много женъ … и постиже Фамаиду на пути» — 239; Феодосия «въскоре текъше, постигоша патриаръшьскыи́ домъ» — 252. Ср. еще в «Повести временных лет»: «постиже и́ту и победи» — ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст летописи подгот. е. Ф. Карский. Стб. 146, под 1021 г.). Туга в выражении «туга състиже мя» неотчетливо представала неким агрессивным существом, настигшим персонажа или даже напавшим на него. Конечно, и этот предметный оттенок был традиционным (ср. в «Успенском сборнике»: «ни едина бо туга прикоснеть ся сущихъ въ корабли»; «бедьно дело постиже ны … приближая ся къ нама» — 291, 181). Выбор выражения понятен: «туга състиже мя» ярче и экспрессивнее, чем «я тужу».

Автор «Сказания» употреблял и иные, не «опредмечивающие», но экспрессивные выражения, относившиеся к печали (например: «И бяаше … въ тузе и печали … И бяше сънъ его въ мънозе мысли и въ печали крепъце, и тяжьце, и страшьне» — 33). При этом автор все же, вероятно, ощущал, что выражения о печали с предметно-образным оттенком наиболее экспрессивны, и поэтому вспоминал них в самые острые, можно сказать, театрализованеные моменты своего повествования, когда печальные персонажи появлялись на публике или горевали при возбужденных зрителях.

«Сказание» наполнено множеством выражений, «опредмечивающих» абстрактные понятия. Так, душу и сердце автор обозначал как некие замкнутые пространства («въ души своеи стонааше» — 31; «глаголаше въ сьрьдци своемь … полагая вь сьрьдци» — 30; «въниде въ срьдце его сотона» — 38); или как существа, вещи или орудия («вижь скърбь сьрдьца моего и язву душа моея» — 41; «сердце ми горить» — 29; «душю изимающе» — 40; «предавъ душю свою въ руце Бога жива» — 37; «вижь съкрушение сьрдьца» — 42; «възнесеся срьдьцьмь» — 43; и т. п.). Некоторые абстракции становились жидкостями («почьреплють ицеление» — 50; «милость твою излеи» — 51). Довольно много абстрактных понятий выступало в роли агрессивных существ («жалость … сънесть мя, и поношения … нападуть на мя» — 38; «рана … приступить къ телеси твоему» — 50; «болезни вьси и недугы отъгонита» — 49; «убежати от прельсти» — 35; и пр.).

Мы не станем углубляться в область очень древних мифологических представлений славян о ныне абстрактных понятиях. Отметим только, что «Сказание о Борисе и Глебе» свидетельствует о том, что элементы образности стихийно проникали в произведение в моменты сильной экспрессии автора. Поэтому образное «опредмечивание» абстракций редко встречалось в произведениях на ту же тему, но иных по стилю: в фактографичной летописной статье «Об убьеньи Борисове» и в суховато-учительном «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора.

В отличие от пафосного «Слова о Законе и Благодати» Илариона, в «Сказании о Борисе и Глебе» эмоциональное «опредмечивание» абстракций осталось отрывочным и не связалось в единое смысловое целое, в «образ мира». Эту дробность образных мотивов можно объяснить как следствие литературной работы автора, — предположив, что «Сказание» было составлено из разнородных кусков. Но тут необходим особый текстологический анализ «Сказания». Однако недаром в «Сильвестровском сборнике» XIV в. разнородность «Сказания» была продолжена, и в «Сказание» кто-то дополнительно вставил отрывки из «Повести временных лет» под 1015—1018 гг.

«Слово о полку Игореве»

В конце XII в. в «Слове о полку Игореве» случаев «опредмечивания» абстрактных понятий, их превращения в материальные предметы или существа, стало еще больше, чем в «Сказании о Борисе и Глебе» (70 или более). Чаще всего, в соответствии с темой «Слова», автор «опредмечивал» такие понятия, как «туга, печаль, тоска, труд, жалость», а также «мысль» и «слава». Туга представала в «Слове»

растением. Например, во фразе «чрьна земля подъ копыты костьми была посеяна, а кровию польяна, тугою взыдоша по Рускои земли» (Слово о полку Игореве / Изд. подгот. д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, О. В. Творогов. Л., 1967. С. 48), битва превращалась в посевную работу, поле битвы превращалось в плодородный чернозем, конские копыта — в мотыги, кости — в семена, а интересующая нас туга представала растительными всходами.

Но затем в тексте «Слова» туга милолетно вдруг становилась чем-то вроде агрессивного существа («туга умь полонила» — 50), а потом — каким-то предметом, напоминающим пробку («тугою имъ тули затче» — 55). Тоска и печаль, в свою очередь, оказывались жидкостями («тоска разлияся по Рускои земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи» — 49); «трудъ» (то есть та же печаль) превращался в вещество, растворимое в вине («чрьпахуть ми синее вино, съ трудомь смешено» — 50); а жалость объявилась страшным существом («Жля поскочи по Рускои земли, смагу людемъ мычючи въ пламяне розе» — 49). Постоянного превращения понятия в один и тот же объект в «Слове» не предусматривалось.

Такое же разнообразие превращений демонстрировали понятия «мысль» и «слава». Мысль, правда, не очень отчетливо, то ли покрывала древо или даже становилась древом («растекашется мыслию по древу»; «скача, славию, по мыслену древу» — 43, 44); то мысль выступала в роли реального орудия реально совершаемого полета («мыслию ти прелетети, отня злата стола поблюсти» — 51; «храбрая мысль носитъ ваю умъ на дело, высоко плаваеши на дело … на ветрехъ ширяяся» — 52); то мысль использовалась как средство землемерия («Игорь мыслию поля меритъ отъ великаго Дону до малаго Донца» — 55).

То же происходило со славой, которая, уже совсем неотчетливо, мыслилась сначала неким ущербным предметом («свивая славы» — 44; «притрепа славу», «разшибе славу» — 53); затем слава превратилась во что-то вроде звонящего колокола («звенить слава въ Кыеве» — 44; «звонячи въ прадеднюю славу» — 51); а потом слава предстала каким-то живым существом («слава на судъ приведе … зелену паполому постла» — 48).

Автор «Слова о полку Игореве» стремился ко многообразию предметных превращений. Больше всего абстрактные понятия в «Слове» превращались в материальные вещи. Например, души воинов напоминали шелуху от зерна («снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоце животъ кладутъ, веютъ душу отъ тела» — 54); душа же князя являлась наружу в виде роняемого жем-

чуга («изрони жемчюжну душу изъ храбра тела чресъ злато ожерелие» — 53). Княжеское слово становилось роняемым золотом («изрони злато слово» — 51). «Крамола» превращалась в металл («мечемъ крамолу коваше» — 48). Крик использовался как ограда («дети бесови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты» — 47). Даже тьма материализовалась в покрывало («тьмою … воя прикрыты» — 44; «Олегъ и Святославъ тьмою ся поволокоста» — 51). И т. д. и т. п.

Абстрактные понятия превращались также в жидкости (например: «грозы твоя по землямъ текуть» — 52) и в растения («сеяшется и растяшеть усобицами» — 48), но особенно эффектно — в живые существа («въстала обида … вступила девою на землю … въсплескала лебедиными крылы…, плещучи, убуди жирня времена … уже лжу убудиста…» — 49; «веселие пониче» — 50; и пр.).

Превращения в «Слове» были универсальными и охватывали не только абстракции. Природные явления превращались в живых существ, наделенных чувствами («ночь стонущи» — 46; «ничить трава жалощами» — 49; «уныша цветы жалобою» — 55) или превращались в активных деятелей (например, в плаче Ярославны ветер метал стрелы «на своею нетрудною крилцю», веял «подъ облакы», лелеял «корабли на сине море», развеивал «веселие по ковылию»; Днепр-Словутич пробивал «каменныя горы» и тоже «лелеялъ» корабли; солнце, словно руки, «простре горячюю свою лучю» на воинов — 54—55. И ветер, и Днепр, и солнце Ярославна называла господами. В других местах «Слова» Дон по-человечески «кличетъ и зоветъ князи» — 52. А Донец становится нянькой: лелеет князя «на влънахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ … стрежаше è» — 55. Солнце же «тъмою путь заступаше» Игорю с войском — 46; то есть тьма превращалась в нечто вроде загородки, созданной солнцем. И т. д.).

Мало того, предметы людского обихода и воинского быта тоже вели себя, как живые: струны Бояновых гуслей, а также половецкие телеги превращались в «стадо лебедеи» (44), «крычатъ … рци, лебеди роспущени» (46). Стяги и копья что-то произносили: «стязи глаголютъ» (47); «копиа поютъ» (54). Крепостные стены печалились: «уныша бо градомъ забралы» (50).

Наконец, люди превращались в животных: «Боянъ … растекашется … серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы» (43); Игорь «поскочи горнастаемъ къ тростию, и белымъ гоголемъ на воду … скочи … босымъ влъкомъ и потече по лугу Донца, и полете соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди…» (55). Тут автор использовал не сравнения и не метафоры, переносящие на человека не-

которые черты животных и создающие образ-«кентавр», но на время заменил человека животным, обратил человека в животное. Если в некоторых лаконичных случаях еще можно сомневаться в том, что не к метафорам ли, к сравнениям или к символам обращался автор «Слова», то при пояснительных упоминаниях звериных или птичьих примет автором ясно наблюдалось полное превращение героев в животных как оригинальный феномен поэтики «Слова о полку Игореве». Чаще всего персонажи «Слова» превращались в волков (например, «Всеславъ … скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ», «въ ночь влъкомъ рыскаше» — 53—54; Овлуръ «влъкомъ потече, труся собою студеную росу» — 55), а еще чаще превращались в птиц (например, Ярославна «зегзицею … кычеть. Полечю, — рече, — зегзицею по Дунаеви…» — 54; Мстислав или Роман — «высоко плаваеши … яко соколъ на ветрехъ ширяяся» — 52).

Даже части человеческого тела тоже превращались: персты Бояна — в десять лебедей; княжеские сердца — в булат («ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузе скована, а въ буести закалена» — 51).

Объяснения столь небывалого пристрастия автора к превращениям всего и вся в «Слове» мы можем выдвинуть только предположительные. Вероятно, автор конца XII в. повернулся лицом к прошлому повествовательному фольклорному и полуфольклорному стилю XI в. (или ранее) и постарался именно «старыми словесы» воспеть поход Игоря, оценив яркую и экспрессивную иносказательность «старых словес». К сожалению, подтвердить это предположение почти нечем, разве что скудными цитатами из песен Бояна в «Слове», былиной «Волх Всеславьевич» и поэтикой превращений в очень поздних полуфольклорных памятниках (например, в «Повести о Горе-Злочастии»).

Демонстративное, пожалуй, даже нарочитое обилие преимущественно благородных превращений в «Слове» сравнительно с предыдущими памятниками показывает, насколько поднаторел автор «Слова» в рыцарственных «старых словесах». Благодаря «опредмечиванию» и обилию превращений мир «Слова» оказался заполненным огромным количеством действующих существ и предметов. Так, автор героизировал трагические события архаическим способом. Но в этом героическом мире роль Игоря получилась довольно скромной.

В заключение, кратко взглянем вперед. Дальнейшая судьба «опредмечивания» абстрактных понятий и превращения объектов свидетельствует о том, что этот архаичный способ образного повествования со временем стал непонятен. Так, в «Задонщине» восходящие к «Слову о полку Игореве» отрывки с превращениями были довольно

неуклюже истолкованы как символы: «то ти не орли слетошася — съехалися все князи русскыя»; «то ти были не серие волци — придоша поганые татарове»; «то ти не гуси гоготаша, ни лебеди крилы въсплескаша — се бо поганыи Мамаи приведе вои свои на Русь» и пр. («Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Тексты «Задонщины» подгот. Р. П. Дмитриева. М., 1966. С. 548—549. Цитируется Кирилло-Белозерский список конца XV в.). Или же вместо превращений возникли реалии (например: «Жаворонокъ-птица, въ красныя дни утеха, взыди под синие облакы, пои славу великому князю Дмитрею Ивановичю…» — 548). А многие отрывки с превращениями исказились в невнятные фразы.

В былине же «Волх Всеславьевич», которую считают очень древней, но, однако, известной лишь по очень поздней записи XVIII в., мотив превращений героя был огрублен до физиологического, волшебного, сказочного оборотничества Волха на какое угодно время и для каких угодно поступков в ясного сокола, серого волка, гнедого тура, горностая, муравья.

В «Повести о Горе-Злочастии» же в XVII в. была предпринята попытка сделать превращения Горя и Молодца полновесными образами, раскрывающими многоликость персонажей и зыбкость жизненных ситуаций того времени. Правда, в конце повести автор вроде бы возвращался к древнейшим превращениям литературных персонажей наподобие «Слова о полку Игореве», но с характерным для XVII в. отличием, — превращения были сугубо хозяйственно-бытовыми, а Горе представало то охотником, то косарем, то рыбаком:

Молодецъ пошелъ в поле серым волкомъ,
а Горе за нимъ з борзыми вежлецы.
Молодецъ сталъ в поле ковыл-трава,
а Горе пришло с косою вострою.

… …

Быть тебе, травонка, посеченои,
лежат тебе, травонка, посеченои
и буины ветры быть тебе развеянои.
Пошелъ Молодец в море рыбою,
а Горе за ним с щастыми неводами.

… …

Быть тебе, рыбонке, у бережку уловленои,
быть тебе да и съеденои.

(*Симони П. К.* Повесть о Горе-Злочастии… // Сборник ОРЯС. СПб., 1907. Т. 83, № 1. С. XXI—XXII).

В общем, превращения сами тоже «превращались», но в том или ином виде, кажется, никогда не выбывали из системы образных средств древнерусской литературы.

И все-таки нельзя не задаться вопросом о том, почему возникли и существовали превращения людей и людских качеств в иные предметные объекты в древнерусской литературе (наряду с приближением превращений к классическим тропам и символам). Ответ в мировоззренческом виде известен уже давно: древние мыслители считали человека родственным всему на свете. Правда, древних же русских письменных подтверждений такого представления нет. Но вот, например, в «Беседе трех святителей» по списку XVI в. (более ранние древнерусские списки неизвестны) мысль об исконной родственности человека всем явлениям в мире была высказана: «от колика части створи Богъ Адама: перьвая часть, — даде тело его от земли; второе, — даде кости ему от камени; третее, — очи ему от моря; четвертое, — мысль ему даде от скорости ангелискиия; пятое, — душю его и дыхание от ветра; шестое, — разумъ его от облака; седмое, — кровь его от росы и от солнца» (Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. М., 1863. Т. 2. С. 448). В «Сказании, како сотвори Богъ Адама» по списку XVII в. человек и собака оказываются родственными: «сотвори Господь собаку, и смесивъ со Адамовыми слезами» (ПамСРЛ. СПб., 1862. Вып. 3 / Изд. подгот. А. Н. Пыпин. С. 13).

Предполагаем также, что не последнюю роль в поэтике превращений играло пробуждение предметного авторского воображения. И вот тому подтверждение из «Слова о полку Игореве» уже не на уровне словосочетаний, а на уровне одного понятия и окружающего его контекста. Например, слово «поле» в этом знаменитом памятнике автор употреблял всегда с прибавкой устойчивого предметного представления о ровном, гладком поле: «Игорь-князь … поеха по *чистому* полю» (46). Это поле беспрепятственно для едущих на конях, и загородить путь может лишь тьма («солнце … тъмою путь заступаше» — 46).

Конечно, автор «Слова» знал, что поле не такое уж ровное, и упоминал «яруги» (овраги), болота, «грязивые места» и холмы (46, 47, 50); но это не заставило автора отступиться от устойчивого образа плоского поля, по которому можно двигаться с огромной быстротой, — «растекаться», скакать, рыскать, мчаться (например: «рища … чресъ поля на горы»; «по полю помчаша» — 44, 46). Более косвенно автор обозначил ровную плоскость поля тем, что при необходимости

поле приходилось перегораживать («великая поля чрьлеными щиты прегородиша»; «загородите полю ворота» — 46, 47, 53). Еще более косвенно ровность поля подразумевалась, когда поле выступало как посевная площадь («въ поле незнаеме … чръна земля … костьми была посеяна» — 48); или как землемерная поверхность («Игорь мыслию поля меритъ» — 55); или же как ровно залитое пространство («по крови плаваша … на поле незнаеме» — 52).

Кроме того, в этом гладком поле не за что было зацепиться (поэтому «буря соколы занесе чресъ поля широкая» — 44) и нечем прикрыться сверху (когда «пороси поля прикрываютъ» — 47; когда «слънце … простре горячюю свою лучю на … вои … въ поле безводне» — 55; или если «почнутъ наю птици бити въ поле» — 56). А ухабистое поле подвергалось уплощению («притопта хлъми и яругы … иссуши потоки и болота» — 50).

Автор «Слова» всюду имел в виду именно половецкое поле, которое простиралось очень далеко («дремлетъ въ поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело!» — 47).

Таково было элементарное предметно-образное представление о поле у автора «Слова о полку Игореве», в то время как в предшествующих памятниках, включая летописи, слово «поле» употреблялось лишь как логическое понятие. Один этот пример уже показывает, насколько напряженным было воображение автора «Слова», тип которого еще только предстоит определить, притом по многим разным формам и литературным средствам в «Слове».